

Убей собаку!

Вадим Макишвили

Метамфетамин

Юргис умрёт, ещё даже не наступит полночь.

За час до этого он выйдет на улицу, двери за спиной отсекут звуки клубной музыки. Он будет улыбаться, — за четверть часа с рук ушло сто таблеток, их место в подплечной потайной сумке заняли шестнадцать тысяч гривен. Две штуки баксов за вечер — так работать он согласен, и плевать, как зовётся этот городишко.

— Ты где товар толкал?

— В Саках.

— В чём?!

Тьфу, идиотизм! Кому только в голову пришло назвать город ссаньём?

Ехать сюда не хотелось, но выбора ему не давали. Город оказался «вполне себе», по крайней мере в разгар лета: тачки, тёлки, клубы — есть всё. А что ещё толкачу надо? И теперь, оглядывая со ступенек клуба вереницу припаркованных машин и отмечая тренированным глазом дорогие и очень дорогие, Юргис чувствовал себя на подъеме. Да что там, он чувствовал себя почти на вершине, — регион вообще холодный, стопудово надо брать, пока донецкие не хапнули. Глядишь, — улыбался сам себе Юргис, — перепадёт кусман и ему. А почему бы нет?

Его девяностодевятая, заметная на фоне иномарок, как голый негр, зашедший в женскую баню, стояла на клубной стоянке. «Пойдёт маза, выкину тебя к чертям», — думал Юргис, направляясь к машине, — «куплю чёрный Lancer sportback...» Его размышления прервал быстро нарастающий рёв мотора и вопли «Короля и Шута», орущих про мясо и мужиков. Мимо стоянки пролетел белый Lancer, («не спортбэк», — машинально отметил про себя Юргис, — «но тоже ничего»), выплёвывая выхлопными трубами фальшивое пламя из подсвеченных красными диодами газов. Из окна со стороны водителя взлетела рука с бутылкой пива в жесте, который обычно сопровождается победным криком. Но даже если водитель что-то кричал из своей машины, крика его было не разобрать, — «Король и Шут» петь умеют. «Понты», — усмехнулся Юргис, приминая на ходу сумку в подмышке так, чтобы она удобнее там легла, — «Ну-ну». Он сел в машину, опустил стекла, извлёк из бардачка предусмотрительно спрятанный от местной шпаны навигатор, вбил адрес в Симферополе, установил в держатель на лобовое стекло, и уже через две минуты двигался к выезду из города, следуя голосовым подсказкам. Его рот по-прежнему растягивался в довольной улыбке.

Юра Генюжин, двадцати семи лет, не судимый, известный в Симферополе как Юргис, догадывался, что сегодняшняя вылазка на чужую территорию нужна не для того, чтобы снять две штуки. Отсюда он вывозил другую ценность - информацию. Слухи, доходившие до его хозяина, и требовавшие подтверждения или опровержения, оказались чистой правдой — конкуренции здесь нет. Саки - изголодавшийся город, совершенно холодный рынок, приходи и бери. Люди хватили экстази у него с дикими от счастья глазами.

Догадался бы поднять цену до сорока баксов за таблетку, слупил бы на две косых больше. Но и так неплохо, процент от выручки заставлял его рот растягиваться в дурацкой улыбке. Марихуаны на этом рынке достаточно, но с экстази полный голяк, не говоря уже о героине. «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», — вдруг фальшиво затянул он, думая о будущих прибылях, если босс отдаст именно ему этот город. — «Та, похер, что захолустье. Зато город! Реальный город и ещё одна ступень вверх к боссу. Реальная маза!» Юргис уже предвкушал встречу с боссом.

Бурная курортная жизнь с огнями, кафе и ресторанами быстро оставалась позади. Навигатор прокладывал путь по неосвещённой дороге мимо заборов частных домов, время от времени направляя женским голосом «через пятьдесят метров сверните налево» или «направо», будто бы к трассе могла вести ещё какая-то дорога. Другой дороги на выезд из города не было, это-то и было главной проблемой Генюжина. Но он об этом не знал, как не мог знать и того, что причиной его смерти станет ДТП, произошедшее три года тому назад, когда одурманенный героином мотоциклист сбил на пешеходном переходе молодую женщину, мать семилетнего мальчишки.

Он пришёл в себя от пощёчины и стал давиться тряпкой, запиханной в рот. Затылок горел, свет автомобильных фар резал глаза.

— Давится, — услышал он над собой. — Сейчас блеванёт.

Диафрагма подпрыгнула, выталкивая содержимое желудка. Юргиса согнуло, кровь бросилась в лицо, и глаза, казалось, от напряжения сейчас взорвутся.

Он сблевал себе в рот пивом вперемешку с желудочным соком и остатками клубного сендвича. Эта жижа, подобно гейзеру выстрелила из пищевода, обрушилась во рту на тряпку-кляп и, не найдя выхода, откатилась зловонной волной в дыхательное горло. Лёгкие незамедлительно отреагировали, вытолкнув из себя остатки воздуха, и вдруг фонтан рвоты выстрелил через нос, окатив одежду и лицо Юргиса горячей блевотиной.

— Блеванул. — Повторил голос.

Теряя сознание, Юргис чувствовал, как тряпку вытаскивают изо рта, и свежий воздух врывается в лёгкие мощным потоком. Юргис зашёлся кашлем, похожим на собачий лай, и в голове немного прояснилось. Обожжённое рвотой горло горело. Он лежал на голой земле в свете фар и медленно приходил в себя. Помнил мало. Помнил, как выезжал из Сак и чуть не врезался в старый фольксваген, припаркованный без габаритных огней в метре от бордюра. Хорошо помнил удивление, от того, что собственная дверь распахнулась, и вдруг затылок взорвался огнём... больше ничего.

Отплеываясь слюной и непереваренной едой, он попытался оценить голос, говоривший минуту назад. Хотя, какие выводы можно сделать, когда твоя голова разламывается на куски, а во рту собака навалила большущую кучу, от которой всё ещё хочется блевать. «Им нужно было, чтобы я сблевал», — но зачем это им, и кто эти «они», он додумать не успел, лишь отметив про себя, что в голосе говорившего не

ощущалось угрозы, а только усталость и равнодушие. В воображении возник образ мента, оддежузившего подряд две смены.

Руки, попавшие в поле зрения, схватили за волосы и дёрнули вверх. Рана на затылке, куда пришёлся удар, взорвалась новой болью и перед глазами заплесали яркие точки.

Оказавшись в сидячем положении он проморгался и огляделся, как ему показалось, украдкой. Ничего толком не разглядев, ослеплённый дальним светом фар, прижал локоть к телу - сумка с деньгами на месте. Голова, как гигантский гнойный нарыв, пульсирует и вдобавок кружится, будто мозг выжали в стиральной машине на максимальных оборотах. «Любые вертолёты с бодуна по сравнению — ништяк».

Он сощурился на свет и смог разглядеть три силуэта - два человеческих и собачий. «Либо они карлики, либо собака - монстр, таких больших псов в жизни не видал» — Он тряхнул головой, вытряхивая из неё мусор, все «левые» мысли, которые непрошеными сами залезали в мозг. «Думай, во что мог вляпаться» — сказал он себе, но ничего путного додумать не получалось. Свет больно резал глаза, молчаливые тени нервировали. Он раскрыл рот, что бы сказать: «Вырубите дальний»... и вместо этого услышал сиплый голос, вырвавшийся из его рта:

— Пацаны, вы чего?

— Как зовут? — Спросил тот, у ног которого сидела собака. — Где живешь?

— Пацаны, я не при делах. — Юргис сморщился от горькой кислоты во рту, ощущая, как волна тошноты набирает силу. — Вы ошиблись, пацаны.

Он накрыл глаза ладонью, но это не помогло видеть лучше.

— Я спросил, как тебя зовут и где ты живёшь. — Спокойно и почти по слогам произнёс второй. — Ответь на два простых вопроса.

— Юра я... Юрий Генюжин, из Симферополя я. — Рот заполнился вязкой слюной, как всегда перед рвотой. — Пацаны, вы чего?

Говоривший отошёл от собаки и подошёл ближе, присел, оказавшись на уровне лица. Юргис отпрянул, ударившись затылком о капот машины за собой, рука, выполняющая роль козырька, сама опустилась. Отраженного от капота света оказалось достаточно, чтобы разглядеть лицо, ничем не примечательное, кроме глаз. Они казались налитыми кровью, как два жутких шара с черными дырами зрачков посередине.

— Юрий Генюжин, — сказал человек перед ним. — Из Симферополя.

Он не спрашивал. Он повторял за Юргисом, словно пробовал на вкус каждую букву.

— Мы возле старого карьера. Когда-то здесь добывали ракушняк, а потом карьер затопило, и люди отсюда ушли. Ближайшее жильё через два километра. Понял?

Он сделал паузу, давая Юргису время осмыслить услышанное. А потом продолжил:

— Ты привёз в Саки метилен-диокси-метамфетамин, известный тебе, как экстази. Весь товар продал в клубе «85» и сейчас возвращаешься в Симферополь с двумя тысячами долларов в наплечной сумке на правом боку. Всё так?

От услышанного тошнота мигом прошла, внутренности похолодели и сжались в твёрдый ледяной ком. Первая мысль, выстрелившая в мозг - всё отрицать: «Не при делах вообще, приехал погучбанить... в «85» был, да... но «метом» не я торговал... какой-то педик из местных его толкал, а бабосы... заберите, пацаны, они теперь ваши...»

Но почти сразу передумал. Глядя в чёрные зрачки, окаймлённые нездоровой красной плотью, Юргис отчётливо понял, что его история фуфельная, а дело вообще дрянь, если этот пацан (который пацаном как раз не выглядел) знает такие подробности. Юргис только сглотнул послервотную горечь и промолчал.

— Всё так. — Сам себе подтвердил красноглазый. — Теперь про меня. Я — капитан милиции, заместитель начальника сакского райотдела.

Он замолчал, и, сунув пальцы в глаза, долго растирал внутренние углы, а когда отнял руку от лица, посмотрел Юргису прямо в глаза и тем же уставшим голосом сказал:

— Ты приехал в мой город.

Юргис догадался, кто перед ним. А догадавшись, едва не обделался.

Поговаривали, в Саках потому и свободен рынок, что мелкие и крупные дилеры ушли из города. За три последние года Сакские партнёры брали товара всё меньше, а потом и вовсе исчезли с радаров. Юргис лично не участвовал в таких сделках, но слухи на то и слухи — там урвал, тут нашептали. Поговаривали о тронутом («долбанутом, чокнутом, прибриженном», — назовите как угодно) менте, который убивает уличных торговцев. Правда то или домыслы — точно никто не знал, никаких подтверждений слухам не было, кроме легенды, в которую кто-то верил, а кто-то нет. Юргис, вот, не верил... До этой минуты...

— Кто-то считает метилен-диокси-метамфетамин безопасным психостимулятором. Под него колбасятся в клубах, литрами глушат коктейли, эйфория, экстаз, кайф. Но есть проблема. Регулярный приём экстази приводит к необратимым изменениям в мозге вплоть до слабоумия.

Красноглазый спокойно смотрел Юргису в глаза.

— В моём городе двадцать четыре тысячи человек, из них восемь тысяч детей. Представь, если эти дети превратятся в восемь тысяч слабоумных подростков.

Он снова зажмурился, яростно втирая пальцы в веки. Юргис попытался соображать, но выходило туго.

«Этот точно мент, второй наверняка тоже, но что это меняет? Руки и ноги не связали, деньги не тронули — это хорошие знаки. Но тогда за каким хреном привезли сюда?» — Юргис огляделся, по-прежнему не сумев что-либо разглядеть за границей света.

«И это спокойствие, с каким мент закрывает глаза, оставаясь в полуметре — оно не беспокоит, нет. Оно чертовски сильно беспокоит! Так не по-детски сильно беспокоит, что...»

Красноглазый прервал его размышления.

— В Саках нет наркотиков. Бывшие героинщики варят по домам дезоморфин, известный тебе, как «крокодил», а я их не трогаю, пусть варят. Через пять лет крокодилышки поггнивают заживо и передохнут в канавах. И мне это нравится, пустьдохнут. Героин я в город не пуцую. Так что ни тебе, ни твоему боссу, ни боссу твоего босса сюда дороги нет.

Он достал из кармана что-то шелестящее. Юргис скосил глаза. Разорвав упаковку, красноглазый извлёк одноразовый пустой шприц на двадцать кубов.

— Если отпущу, что скажешь боссу?

Надежда блеснула перед Юргисом.

— Всё, что надо, скажу. По-чесноку скажу!

Красноглазый надел на шприц иглу и снял колпачок.

— А что именно?

Юргис косился на пустой шприц, соображая, какие слова прозвучат убедительно. Щека стала дёргаться, и в такт подергиваниям он вдруг затараторил, торопясь высказать всё, лишь бы получилось уйти отсюда живым.

— Что идти с товаром в Саки нельзя, что тут всё схвачено, что сильная монополия, что...

Вдруг красноглазый навалился на него, прижал к капоту, а другой рукой нанёс молниеносный удар. Спустя мгновение вместе с острой штыковой болью пришло осознание удивительного факта — из его горла торчит шприц. Большущий. Пустой. Толстая игла вошла по самое основание, пробила трахею, пищевод и застряла где-то в глубине. Вместе с болью его захлестнула волна неожиданно возникшего страха, родившегося где-то внутри мозга помимо воли, словно через пустую иглу в него влили литр жидкого ужаса. Воздух в горле сам собой остановился, трахею точно перекрыли печной заслонкой; сердце часто забилося в груди, отчаянно стараясь продлить существование хозяина, а потом истерично затрепыхалось, от чего страх превратился в панический ужас, и этот ужас стал шириться, затапливая собой сознание... и вдруг сердце остановилось.

— Почему его не в карьер? — услышал он, но даже не пытался понять, о чём над ним говорят.

Удивлённый и напуганный ощущением, что жизнь в нём замерла, а сердце не заводится, Юргис схватился за шприц, собираясь выдернуть из себя, и раскрыл рот, чтобы втянуть воздуха. Но игла сместилась, и горло взорвалось новой вспышкой. «Как рыба»,

— думал он, хватая ртом не попадающий внутрь воздух и отмечая угасающим (на этот раз навсегда) сознанием, что в груди больше ничего не стучит...

Юргиса найдут на следующий день совсем в другом месте — в Симферополе на стоянке Торгового Центра «Меганом».

Татьяна Милютина, работающая домработницей в семье заместителя директора одного из симферопольских коммерческих банков, выйдет из супермаркета с тележкой, доверху нагруженной покупками для хозяйского дома, переложит их (в купленную по выгодным процентам в кредит у этого же банка) Ладу Калину и вместо того, чтобы вернуть тележку ко входу в магазин, эффектным движением оттолкнёт её, но не рассчитает силу и, тележка врежется в заднюю дверь стоящей через проход девяностодевятой. Если бы минутой ранее она не заметила, что там за рулём кто-то есть, она бы прыгнула в Калину и уехала, руководствуясь принципом «Не пойман - не вор», который неизменно давал ей право в тайне от хозяев забирать домой что-то вкусное. Сегодня, к примеру, это будет бутылка шампанского «Martini Asti».

Но водитель был на месте, поэтому скрипя сердце, она пошла с ним договариваться. «Приплати мне, я и тогда не села бы за руль машины, выкрашенной в цвет собачьего дерьма», — успела она подумать про машину, к которой приближалась. Юрий Генюжин будет сидеть за рулём, раскрыв рот и откинув голову на подголовник, с засохшими на подбородке слюнями и корками рвотных масс на рубашке. На несколько секунд Татьяна впадёт в ступор, но этого окажется достаточно, чтобы рядом возникла женщина в форменной безрукавке, собирающая брошенные на парковке продуктовые тележки. Женщина, как нарочно, увидит Татьяну возле ебучей машины («ебучей» — именно так Татьяна позже будет про себя её называть), а потом и самого водителя. Поэтому «благоразумная» Татьяна останется на месте ждать милицию, а про то, что вмятину на двери оставила её тележка, со спокойной совестью умолчит.

Прибывшие на место эксперты обнаружат труп и шестнадцать тысяч гривен в скрытой подплечной сумке. Смартфон, закреплённый в держателе, окажется разряжен, но после подзарядки он покажет маршрут из центра Симферополя к этому торговому центру.

На вскрытии обнаружат подкожную гематому в затылочной области, которая никак не потянет на причину смерти. Других следов насилия не обнаружат, как не обнаружат и повреждений внутренних органов. Слизистую дыхательных путей найдут обожжённой от заброса рвотных масс, которых в легких окажется предостаточно для того, чтобы сформировать предварительный диагноз «Асфиксия вследствие регургитации желудочного содержимого». Судмедэксперту даже в голову не придёт проследить, куда продолжается точка на шее, напоминающая след от инъекции, тем более, что пойдипойми что-нибудь на обожжённой слизистой трахеи. Лабораторные исследования покажут в крови наличие метафетамина в такой концентрации, что притянуть причину возникновения рвоты к диагнозу не составит никакого труда.

То ли оттого, что кости черепа под кожной гематомой окажутся целы, то ли вследствие того, что трудно привязать симптомы асфиксической смерти к удару по голове, то ли из-за того, что в деле фигурировала свидетелем Татьяна Милютин, версия об преднамеренном убийстве рассматриваться не будет. Татьяну вызовут к следователю дважды, после чего хозяин дома, в котором она работает, вызовет её к себе в кабинет и потребует впредь осмотрительнее вести себя в публичных местах, потому как «любое дело, в которое она встречается, отражается и на его репутации», а в завершении разговора без намёков и недосказанностей пообещает в следующий раз вместо звонка в Органы, позвонить ей и сказать, что она уволена.

Спустя месяц следователь симферопольской прокуратуры захлопнет тонкую папку с фамилией Генюжина на титульном листе, завяжет на ней бантик из бесцветных тесемок, и кинет в сейф с тем, чтобы снести в архив. К тому времени история сакского милиционера, который своими методами боролся с наркоторговлей, уже станет широко известна, но смерть на стоянке Меганомы с ней не свяжут. Во-первых, Генюжина обнаружат мёртвым в Симферополе и не найдут никаких (даже косвенных) признаков, что накануне гибели он ездил в Саки. Во-вторых, человек, который отправлял Юргиса с товаром в Саки, всё поймёт, но будет помалкивать — умер и умер, шестёрка много, а раз мента больше нет, надо по-быстрей хопать новый рынок. А в-третьих, узнать, как погибали сакские жертвы, не представлялось возможным — по официальной версии «Сакский Мститель» за четыре года утопил в старом карьере около пятнадцати человек и эти тела обнаружить не смогут. Водолазы найдут на дне карьера одно распухшее до неузнаваемости тело, но и это станет возможным только потому, что течение зажалло труп между гусеницами трактора, затопленного на дне карьера. Общественность всколыхнётся после этой находки, а местные жители будут удивляться тому, что хоть кого-то смогли найти — в Саках даже дети знают — к карьере не подходи, утянет и хоронить будет нечего.

История сакского милиционера взбудоражит всю Украину, несколько недель Центральное Телевидение будет передавать новые и новые факты по делу о «Сакском Мстителе», а сакчане будут активно обсуждать историю между собой, расцвечивая известные факты своими домыслами и додумывая то, чему не смогут найти объяснений в СМИ. Шутка ли, заместитель начальника милиции - убийца.

Но никто не узнает всей истории целиком — истории, связавшей судьбы трёх семей в такой тугой клубок, что выбраться из него не сможет никто... разве только мальчик, тот самый, о котором теперь судачат бабки за семечками, чья мама трагически погибла три года назад.

Сорняки растут быстро

В тени забора, где мама сажала петушки, вымахали лопухи. Год назад там кустилась какая-то «амброзия» (папа говорил, от неё глаза чешутся), а в позапрошломросло что-то ещё — каждый год они разные.

Мальчик стоял перед лопухами и едва сдерживал слёзы. Он смотрел на большие листья, склонённые до земли на толстых жилистых стеблях, и не мог вспомнить мамино лицо, — оно окончательно забылось, словно последний элемент рисунка стёрли с доски, оставив только медленно сохнувшие разводы.

Три лета подряд с необъяснимым упорством мальчик пропалывал эту грядку, не задавая себе вопросов. Он выдёргивал сорняки из земли, обрывал колючие стебли, рыхлил маслянистую землю и с наслаждением втягивал носом запах сырых чёрных комков. В такие минуты он становился другим, будто бы перерождался в маму, становился немного мамой, ощущал маму рядом. Временами над грядкой ему чудился родной запах — особенная и неповторимая смесь духов и маминой кожи, и несколько раз казалось, что обернись он сейчас, мама будет стоять рядом — близко-близко, живая-живая. Он никому об этом не рассказывал, догадываясь, что странное и волнующее присутствие мамы над её любимой цветочной грядкой исчезнет, как только скажешь об этом вслух... И вот оно исчезло, хотя он никому-никому о грядке не сказал...

Цапка и грабли выскользнули из ослабевших пальцев и упали к ногам. Слёзы защипали глаза, лопухи поплыли, словно отражённые в воде. Мальчик стоял, потрясённый мыслью, что в его жизни мамы уже не будет никогда. Только сейчас, спустя три года, он освободился от гипноза и увидел мир, в котором ему предстояло жить. Мир, где больше нет волшебной грядки, возвращающей маму. Мир, в котором нет маминого лица, даже если зажмуриться и сильно-пресильно захотеть.

Он утёр слёзы тыльной стороной ладони и, вспомнив, что папа ещё дома, поспешно оглянулся на окна. Папа не увидел. Мальчик повернулся к окну спиной, тщательно вытер глаза и проморгался. Из-под большого лопуха, припав лохматой мордой к прохладной земле, на него смотрела Дана, кавказская овчарка.

Каждое утро, как только высохнет утренняя роса, Дана бредёт под забор и копает там гнездо — взрыхляет грядку огромными белыми лапами, выкидывая на дорожку комки чёрной мягкой земли. Папа принёс щенка, когда мальчику исполнилось шесть. Уже тогда щенок казался упитанным шерстяным зверьком с толстыми лапками-брёвнышками. А теперь Дана стала просто гигантской с её круглыми ореховыми глазами на огромной морде, с обрезанными короткими ушами и такой широкой грудью, будто собака однажды глубоко вдохнула, а воздух весь там и остался.

Мальчик оглядел комья земли, ещё раз оглянулся на окно кухни, где отец сейчас завтракал, и пошёл в сарай за веником. Старательно собрав землю, набросанную собакой, он выкинул комья назад под лопухи. Поднял цапку и грабли, отнёс инструменты в сарай. Несмотря на жару, в сарае было прохладно, солнечный свет заливал лишь

прямоугольник пола сразу за раскрытой дверью, в дальних углах сарая пряталась темнота. Мальчик не боялся этой темноты. Она хорошая. Он знал эту темноту.

Дана вылезла из-под лопухов, обтрусилась, взметнув вокруг себя облако из пыли и мелких земляных катышей, подошла к мальчику, зажимая в зубах любимый мяч, погрызенный и замусоленный, и ткнулась мокрым носом мальчику в руку. Огромная собака с белой шерстью и наполовину рыжей мордой, собака, которую можно испугаться от одного только вида, по-щенячьи ткнулась в ладонь мальчика и, не дождавшись ответа, выронила мяч и лизнула ребенка большим шершавым языком, оставив на руке слюни с пузырьками воздуха.

Мальчик в ответ закрыл глаза и, будто наяву, увидел надутую вентилятором занавеску, которую он хватает, чтобы не упасть... Воспоминания нахлынули, накатили на мальчика в один момент. Он снова оказался в том дне, когда хоронили маму... когда он и сам едва-едва не умер...

Маму отпевали дома, во дворе.

Утром к дому подъехала серая машина с черной полосой на боку. Мальчик прятался в своей комнате и сквозь едва заметную щель между дверью и косяком наблюдал, как папа и водитель перекладывают маму в гроб. Когда мужчины вышли во двор, мальчик выглянул в коридор, приподнялся на носках и вытянул шею: там в кружевах лежал кто-то с голубоватой кожей на заострившемся лице. Тот человек не был похож на маму, и это было странно, и даже страшно. Мальчик зажмурился, а когда глаза открыл, ничего не изменилось. Он не так себе всё это представлял. Он думал, увидит маму такой же, как три дня назад, когда она собиралась на работу — красивую, с причёской, с накрашенным лицом, а она совсем не такая. Будто и не мама вовсе.

Он вглядывался в малознакомое лицо и не решался подойти. Робел. Но ноги сами сделали шаг, потом ещё, и мальчик не заметил, как оказался совсем близко от гроба; рука поднялась и поплыла к маминому лицу, потом медленно прикоснулась к щеке, холодной и твёрдой. От неожиданности мальчик отдернул руку. В его воображении мама не должна была быть такой. Он не хотел видеть её такой. Это не его мама. Мама не такая совсем... Он скучал не по этой женщине с чужим и холодным лицом. Он думал, увидит маму, а ему показали кого-то другого. Обида и неведомая горечь утраты подкатили к горлу, перехватили дыхание. Мальчик попятился от гроба, не замечая отца, замершего на пороге дома, задел ногами вёдра, выставленные в коридоре — они загрохотали по полу, — а потом стремительно развернулся и рванул к себе в комнату, стуча голыми пятками по кафельным плиткам.

Когда маму вынесли во двор, солнце осветило каждую складку на её лице. Голубой оттенок исчез, и теперь казалось, даже румянец появился на щеках, но прежней мамой она всё равно не стала, мальчик отводил взгляд. Даже теперь он не в полной мере осознавал, что произошло. Время от времени приходили мысли, что это мама там лежит... что скоро её закопают... и что больше никогда... Горло перехватывало от тягостных дум, и дышать становилось трудно, и слёзы подступали к глазам. Но он гнал от

себя горькие мысли, потому что детский ум понять их не мог, а вместить в себя и принять — тем более.

Священник ходил вокруг мамы и тараторил что-то, как дурак, на непонятном языке. Буквы произносил русские, но слова из них не складывались. Да и сам он ни во что не укладывался: какой-то молодой, упитанный какой-то. Жирный. И в кроссовках. Он ходил вокруг мамы, а кроссовки высывали белые носы из-под застиранной сутаны и тут же прятались, словно хвастались.

По правде, он вовсе не походил на батюшку. Он смахивал на старшеклассника, который ни разу не брился с того дня, когда первые волосы пробились сквозь залитые подростковым румянцем щеки. Такие ходят по школе, мальчик видел. Не такая должна быть борода у батюшки. Слишком жидкая, она придавала священнику дурацкий вид, а его затёртая сутана жирно лоснилась ниже спины, и подол уже весь пропылился. «Может быть кто-то ради смеха вырядился в попа? Ему тут все кланяются, называют батюшкой, руки целуют, а он бормочет ерунду и про себя смеётся над придурками?» — мальчик бросил быстрый взгляд на отца. Нет. Не может быть. С папой не шутят.

Когда женщины, приехавшие с попом, запели, — всё изменилось. Они слажено и чисто выводили «господипомилуй, господипомилуй, господипо-оми-и-и-и-лу-у-уй...», и последний слог, подхваченный слабым ветром, уносился ввысь в безоблачное небо. Их голоса звучали глубоко и печально, а лица их светились каким-то неземным светом, напоённым тихой непоказной скорбью, без слёз, без причитаний, словно то были не женщины вовсе, а настоящие ангелы. Словно они знали о маме что-то такое, чего не знает никто. И было в их грусти что-то очень настоящее и непонятное. И даже волшебное. И даже двор от их пения будто бы расширился, а мамин гроб вдруг стал даже красивее.

Мальчик посмотрел на маму, и в груди вдруг защемило — больно-больно — на короткий миг совершенно ясно представилось, что он видит маму последний раз, что она останется с ним теперь только на фотографиях. Это понимание пришло и тут же исчезло, оставив после себя неуловимый след, одно только воспоминание о каком-то важном открытии, которое он сделал, но тут же забыл, какое именно.

Мальчик поднял глаза кверху, туда, куда уносились голоса женщин, где солнце обесцвечивало утреннюю голубизну, где мелодия, созвучная его горю, переливалась красивыми нотами, и изливалась оттуда на него, наполняя душу спасением, как осенние дожди заполняют пересохшие за лето пруды... Он вспоминал маму, перед мысленным взором проносились сцены, где они наскоро завтракают, а потом идут в школу, а он припрыгивает, чтобы за мамой поспевать; как мама купает его в ванне, мылит голову шампунью «Кря-кря», а потом лежит с ним в кровати и читает на ночь о «проделках Финдуса»; как они в парке играют в аэрохоккей, а потом идут в супермаркет за киндер-сюрпризом... И было от воспоминаний почти хорошо...

И вдруг мальчику вспомнилось лицо одной из поющих женщин, той, что с родинкой над верхней губой. Женщина тогда выходила из супермаркета, толкала перед собой тележку, доверху нагруженную едой, а поверх тележки лежал багетный батон — он опасно подпрыгивал, когда тележка тряслась на тротуарных плитках. Тележка проехала перед

лицом мальчика, а в ней среди других пакетов стояли бутылки с чёрной сладкой водой. Мальчик проводил взглядом тележку и спросил маму, зачем тёте так много черной воды, и что будет, если батон упадёт с тележки. Образы батона и кока-колы непроизвольно соединились с образом поповских кроссовок, и торжественность момента внезапно исчезла! Мальчику даже показалось, он оглох на секунду от тишины, которая его окутала от сошедшего на него откровения: они едят! Они обычные! Просто женщины. Мальчик уставился на них, ошарашенный, и ясно разглядел — они самые обычные-преобычные. Они здесь на работе, что ли? И печаль их по маме ненастоящая? Они нацепили её на себя, как папа каждое утро надевает фуражку, а на деле им всё равно — поют сейчас над мамой, завтра споют над кем-то ещё, а потом купят кока-колу, сверху придавят батон и спокойно повезут домой. Так что ли?

Голоса женщин внезапно перестали казаться чистыми, а лица красивыми — мальчик вдруг разглядел, что грусть на их лицах одинаковая, словно нарисованная под трафарет. Душа его, не успев наполниться светом, вдруг стала пустой, точно огромный пылесос вытянул все душевные силы. Мальчика повело, пошатнуло, стул под ним отозвался громким скрипом, разорвав женское троеголосие фальшивой нотой.

На стул в двух шагах от маминого гроба его усадили задолго до того, как приехал поп, солнце ещё только появилось над тополями. Стул, неизвестно чей, оказался таким скрипучим, что пошевелиться было страшно. Мальчик и не шевелился. Как маленькая статуэтка он сидел в окружении вёдер и трёхлитровых бутылей с цветами, выстроившихся по обе стороны от его стула. Люди приходили и уходили, опускали цветы в гроб и деловито совали их в вёдра. Гвоздики красные, гвоздики фиолетовые, гвоздики в черных ленточках, гвоздики, гвоздики, гвоздики... Мама их терпеть не могла.

Солнце лениво ползло по небу, майка липла к вспотевшему телу. Мальчик украдкой от отца утирал подступавшие слёзы и всё больше горбился на стуле, словно старался спрятаться от всех в невидимом коконе — от чужих людей, от горячего солнца, от терзающей детский разум и не до конца осознанной мысли, что мамы больше нет, от фальшивой мелодии, в которой мальчик больше не различал ни одной правдивой ноты.

Последние три дня были страшные. Мальчик просыпался ночью и, как раньше, вставал с кровати, чтобы прокрасться к родителям и лечь с того края, где спит мама. Но открыв дверь в коридор, первым делом натыкался на закрытое покрывалом зеркало, и мамина смерть обрушивалась на семилетнего ребенка, разрушая сладкую сонную иллюзию. Он осторожно прикрывал дверь, возвращался в постель и беззвучно плакал, сунув голову под подушку — папа и раньше-то слёзы не терпел, а эти три дня ходил таким, каким мальчик его не видел никогда, точно в нём завелась пружина, которая медленно сжимается и накапливает силу, чтобы в кого-то выстрелить. Стать мишенью мальчик не хотел.

Минуты текли медленно. Солнце взошло высоко, тень от стула уже полностью уместилась у мальчика между ног. Запах гвоздик кружил голову. Спины сменялись перед глазами. Священник продолжал ходить вокруг гроба, раскачивая на цепи золотой шар, выпускающий облака вонючего дыма, от запаха которого хотелось пить ещё сильнее.

Яркие мушки заплясали перед глазами, как если долго давить на глазные яблоки. Горячая волна возникла где-то на макушке и потекла из головы в горло, а потом ниже. Внезапно стало трудно дышать, мельтешащие мушки слились в огромные цветастые пятна, фигуры людей странным образом исказились, и звуки растянулись в нечленораздельное «бу-бу-бу». Сквозь бубнёж священника слышался собачий вой, и мальчику внезапно стало так страшно, как никогда ещё не было в жизни. Горячая волна докатилась до живота и разлилась там, парализуя волю и забирая остатки сил. Свет померк, словно на землю упало огромное чёрное покрывало. Заваливаясь набок и одновременно с этим соскальзывая в черноту беспамятства, мальчик съехал со стула и рухнул на бутылки с гвоздиками, через мгновение оказавшись в россыпи мокрых траурных цветов и бутылочных осколков.

Женщины замерли с раскрытыми ртами, батюшка остолбенел, и только собака в сарае продолжала выть так жутко и тоскливо, что в районе смолкли все звуки, а старухи возле покойницы стали неистово молиться, открещиваясь от чуждой беды.

Отец не сразу понял, кто-то дважды тряс его за плечо, прежде чем до него дошло. Он бросился в толпу и на секунду пришёл в ужас, увидев обложенного траурными гвоздиками сына, с лицом бледным, как у мёртвой жены. Бросился на колени, едва не угодив коленом в осколок стекла от разбившейся банки, подхватил горячее тело на руки и побежал с ним в дом, роняя за собой узловатые зелёные стебли с красными гвоздичными головками.

Уложил в детской, распахнул настежь окно, раздел до трусов и вылил на него бутылку холодной минералки. Мальчик не приходил в себя. Мужчина закусил ладонь, а потом с размаха ударил сына по щеке. Собачий вой стих резко, словно на пасть накинули петлю и затанули.

Мальчик очнулся и увидел папино лицо. Отец с тревогой вглядывался в него и выглядел растерянным, едва ощутимый запах отцового пота плавал в воздухе, кисловато-сладкий и тягучий, знакомый с самого детства. Мальчик протянул к отцу руки, но папа уже поднялся.

— Лежи. Я сейчас. — Сказал он и быстро вышел.

Мальчик уронил руки на постель, сердце оборвалось, словно оно висело на нитке, а нитку отец только что перерезал.

Отец вернулся с вентилятором и ещё одной бутылкой воды. Мальчику хотелось броситься, обхватить и вжаться в отца, но он даже не шевельнулся. Отец включил вентилятор, лопасти завертелись, занавеска надулась парусом и заполнила окно.

— Пей. Лежи. На улицу не ходи. — На секунду он задержался взглядом на сыне и стремительно ушёл.

Мальчик тут же вскочил, но в голове зашумело, комната закачалась, как лодка качается под большой волной. Он взмахнул рукой, ухватился за занавеску и, оборвав

наполовину, упал грудью на подоконник. Приходя в себя, дышал ртом, сердце билось неровно, и в голове словно кто-то открутил водопроводный кран.

Мальчик выпустил занавеску и в эту секунду увидел сарай. Сквозь щели между дверными досками на него смотрела собака. Его собака. Смотрела на него, не отводя глаз... И в её взгляде была вся та любовь, которую мальчик искал в отце. Вся необходимая ему любовь...

— Антон!

Крик отца выдернул мальчика из воспоминаний. Антон дёрнулся и спешно огляделся, не оставил ли за собой бардака, за который его будут ругать. Не заметив ничего криминального, стремглав побежал к окну кухни. Дана потрусилась рядом, вывалив набок розовый длинный язык.

Когда мама была жива, папа разговаривал с сыном редко, даже если считать беседой вопрос «как дела?», на который мальчик не успевал отвечать - папа уже что-то рассказывал маме. Сейчас хуже не стало - тот же вопрос папа задавал каждый день, утыкался в газету, и ответ мальчика повисал в воздухе, как всегда, не нужный никому. Мальчик был уверен, ответ он что-нибудь дерзкое, в духе «как дела — ещё не родила», это осталось бы отцом незамеченным.

Но проверить эту идею на жизнеспособность он не решился бы - даже спустя три года после похорон пружина внутри отца не распрямилась. Временами папа замирал и глубоко задумывался о чём-то, а выражение на лице становилось таким странным — лучше не подходи; и жутковатая улыбка появлялась в уголках его губ, словно тень чего-то мерзкого. В эти долгие секунды окликать отца было по-настоящему страшно, казалось, оклики его и вернётся не папа, а кто-то чужой и страшный. Совсем чужой. Совсем страшный.

Антон подбежал к кухонному окну и заглянул внутрь. Отец сделал глоток из маминой чашки и не отрываясь от газеты, сказал:

— Я на рыбалку завтра. Червя накопай.

— Хорошо, пап.

— Ну-ка, в дом зайди.

Мальчик старался не давать возможности на себя сердиться. Он убирал квартиру, подметал двор, выносил мусор, чтобы тот не завонялся, хотя про воняющий мусор мальчик зря волновался — если за чистоту в квартире он получал от отца подзатыльники, то за мусор ни разу. Папа плохо дышал носом, поэтому запахи его не беспокоили так, как воспалённые веки. Странно, что впервые у отца заслезились глаза в то лето, когда умерла мама. А, возможно, всё дело в сорняках, которые лезли, как бешеные. И если всё-таки причина была в аллергии на растения, то с каждым разом аллергия становилась всё злее — иногда отец расчёсывал веки до самой крови. Он и так-то был раздражительным, а в такие дни вообще мог взорваться с пол-оборота, если мальчик делал что-то «не так» или говорил что-то «не то».

«Не то и не так». А как? Антон не знал, что и как говорить, чтобы папа не сердился. В душе мальчика жила тревога, постоянное предчувствие грозы, которую мог устроить ему отец в любую минуту за любую провинность.

Червей он, конечно, накопает. У отца был целый сундук с наживками, крючками и разными приспособлениями, но любил он ловить на червя. Антон ездил с ним на рыбалку редко, а после похорон так вообще ни разу — отец не звал. Вот и вчера отец вернулся ночью, когда Антон делал вид, что спит; привёз большую рыбину и чистил её во дворе. Рыбу Антон обнаружил сегодня в морозилке, порезанную на куски, и было бы странно, если бы такая здоровенная рыба водилась в озерах за Саками. К тому же, если отец и был вчера на рыбалке, почему удочки остались в сарае? Конечно, он может ловить на снасти друзей, которые ездят с ним, однако Антон сильно подозревал, что иногда отец ездит совсем не на рыбалку, но вопросов на эту тему не задавал, да и какая ему разница?

Он торопливо скинул шлёпанцы у порога, нырнул под свисающую на дверном проёме марлю, защищающую дом от мух, и прошёл в кухню. Гладкие плитки приятно охладили ступни, в воздухе вкусным ароматом витал запах кофе, на столе среди крошек лежали батон хлеба, пачки кетчупа и майонеза, стояла тарелка с неаккуратно нарезанными кругляшами колбасы и треугольниками сыра.

— Сделай мне ещё бутерброд. И себе тоже.

— Я не хочу, пап.

— Ну, мне сделай.

Антон вымыл руки и взялся за нож и батон.

— Что там у тебя вчера? — Отец так резко перешёл к другой теме, что Антон не сразу понял, о чём отец спрашивает, а когда до него дошёл смысл вопроса, замер с ножом в руке, остолбенев.

— Ничего у меня вчера. А что?

— Ничего?

Отец отложил газету, сунул зубочистку в рот и стал медленно ковырять в зубах, молча разглядывая сына.

Мальчик вдруг ощутил опасность, исходящую от отца, глаза забегали по доске, словно он пытался найти выход. Как будто у него был какой-то выход.

— Ты режь хлеб, режь. Сделай мне два, а я пока кофе сделаю.

Отец вышел из-за стола, отошёл к чайнику, и температура вокруг мальчика понизилась сразу на пару градусов, словно источник жары и духоты ещё секунду назад был вплотную придвинут к лицу, а сейчас его убрали на пару сотен метров. Испарина выступила на лбу мальчишки. Он украдкой посмотрел в спину отцу, тот заливал кипятком из чайника в мамину синюю чашку.

Антон быстро отрезал от батона два куска, выдавил на них кетчуп, сверху положил кругляши колбасы, не обратив внимания, что те порезаны с кусочками плёнки, сверху уложил сыр и сунул тарелку в микроволновку. Таймер на печке затикал, отсчитывая назад тридцать секунд, а мальчик сел на табуретку и спрятал руки под стол.

— Ну, так что там вчера случилось? Не расскажешь?

Отец поставил кофе на стол, чуть-чуть расплескав. Чёрная траурная кайма растеклась вокруг любимой маминой чашки.

Антон пожал плечом, не зная, как рассказать, с чего начать. Он ничего не хотел рассказывать. Зубочистка ходила в зубах отца вверх-вниз, и мальчику на мгновение показалось, что эта зубочистка - он сам. И что за плотно сжатыми отцовыми губами безжалостно грызут не плоть зубочистки, а его душу. Антон глянул в глаза отца и не увидел в них ни капли интереса, словно отец смотрел не на сына, а на недавно выбеленную стену сарая.

— Подрался, — выдавил из себя Антон.

Микроволновка дзинькнула, отец наклонился над столом, словно заинтересовался чем-то важным.

— Выиграл? — Спросил так, что было ясно из вопроса - даже если Антон ответит утвердительно, отец не поверит.

— Выиграл.

— Выиграл, — повторил отец интонации сына и откинулся на стул. — Неси бутерброды.

Мальчик достал тарелку из микроволновки и поставил перед отцом. От расплавленного сыра вверх тянулся горячий пар. Отец смотрел на Антона и от этого взгляда снова стало жарко, словно печку придвинули к самому лицу - через секунду лицо запечётся, как абрикосовый пирог.

— Ещё бы ты не выиграл, пацан младше на два года. Ты ему зуб сломал.

Антон наконец сглотнул. Голова начала кружиться. Кончики пальцев на руках покалывали, как если стоять на краю обрыва.

— Постоянный. Этот. — Папа открыл рот и постучал ногтём по переднему зубу. — Сломал наполовину. Молодец какой. За что бил?

Голова закружилась ещё сильнее. Интонации путали мальчика, отец вроде бы ругает, тогда почему «молодец»? А если хвалит - за что? Что избил Мелкого?

— Бил за что, спрашиваю? Язык проглотил? Выкладывай.

— Я копал муравьёв.

— И что?

— А тут пришли они и сказали, чтобы я уходил.

— Они - кто?

— Пацаны из младших классов.

— Сколько?

— Не знаю. Десять. Или больше.

— Дальше что?

— Сказали, чтобы я уходил с поля.

— С какого поля?

— Со стадиона.

— Ну, ну, продолжай, мне интересно.

— Я их послал на три буквы.

— Та-а-к, интересно. А они что?

— А они меня послали.

— А дальше что... Ты можешь сам рассказывать? Или мне из тебя по одному слову вытаскивать?

Антон вытер вспотевшие ладони об колени и начал:

— Я копал муравьёв...

Муравьями Антон увлёкся этой зимой. За день до окончания зимних каникул мороз заковал Чокрак в лёд так крепко, что родители спокойно отпускали детей с коньками на озеро. «Эх, на неделю раньше бы этот мороз», — глядя в окно на голые обледенелые ветки мечтал Антон, вместо того, чтобы искать ответ на заданный учителем вопрос «Что Константин Георгиевич Паустовский хотел нам сообщить рассказом «Кот-ворюга». Если на то пошло, Антон вообще не считал, что рассказ обязан что-то особенное сообщать помимо того, что в рассказе уже написано. Никаких двойных смыслов в книжках Антон не искал, в первую очередь получая удовольствие от интересной истории. Рассказ Паустовского, если честно, на бестселлер не тянул, да и блокбастера по нему вряд ли кто снимет.

«И вообще, история про детей, которые хотели изловить кота, чтобы наказать за воровство, а поймав, накормили до отвала ипустили... Пффф, эта история немного старомодна, что ли. Если смысл в том, что плохого человека надо похвалить и тогда он станет хорошим, так это работало раньше. Сейчас как придурка ни хвали, придурком он и останется, или станет ещё большим придурком» — так размышлял Антон, когда голос учителя потонул в оглушительном звоне, возвестившем об окончании последнего урока.

Учительница, перекикивая поднявшийся гомон, продиктовала домашнее задание (Борис Васильев «Великолепная шестёрка»), а когда Антон оделся и уже выходил из класса, остановила его и попросила принести из библиотеки пачки бумаги: «библиотекарь Яна Николаевна в курсе, только скажи, что для меня».

Библиотекаря на месте не оказалось, а на столе лежала записка, предназначенная, видимо для всех сразу и ни для никого конкретно: «Буду через 10 мин». Дожидаясь библиотекаря, Антон от нечего делать взял со стола книжку с белой глянцевой обложкой, на которой увидел фотографию муравья, сделанную с помощью макросъёмки, а закрыл спустя час... не заметив, что всё это время простоял в хорошо натопленной библиотеке в теплой куртке и не сняв шарфа.

Проглотив книгу за два вечера, Антон с нетерпением пошёл за продолжением. Как измученный жаждой человек пьёт воду из запотевшего стакана, так Антон взахлёб вчитывался в мир муравьиной семьи, где взаимоотношения между членами семьи были теплее, чем между Антоном и отцом. Мальчик проглотил вторую, а потом третью книгу Вербера и понял, что хочет ещё, но трилогия закончилась, а будет ли продолжение, этого в интернете он не нашёл. Зато обнаружил (и это привело его в полнейший восторг), что, оказывается, существует целая наука, изучающая муравьёв, их повадки, потребности и даже болезни (они ещё и болеют?). А когда узнал, что муравьёв можно содержать в домашних условиях, как каких-нибудь хомячков или попугайчиков, он пришёл в странное возбуждение, которое не мог бы объяснить даже самому себе.

Впрочем отцу он тоже не смог этого объяснить. До поры до времени отец не возражал, относясь к увлечению сына, как и ко всему, что происходило в жизни сына. То есть, почти никак.

За зиму и начало весны Антон прочитал о создании формикариев всё, что было выложено в интернете. А когда в первых числах мая солнце прогрело землю, и первые муравейники раскупили запечатанные на зиму ходы, Антон с гордостью принёс в дом пробирку со своей первой маткой.

С того дня он поймал их не одну, сделал множество формикариев, самый удачный оказался из гипса, испробовал всякие формы от червеобразных ходов с расширяющимися ампулами, до лабиринтов наподобие пчелиных сот. Всё было отлично до тех пор, пока, подскользнувшись на кухонных плитках, Антон не упал, а формикарий, склеенный из стекла упал и разбился на множество осколков, разлетевшихся во всей кухне вместе с муравьями, землей и мусором муравьиного города. Всё могло пройти незамеченным (Антон убрал всё до возвращения отца со службы), если бы во время ужина отец не полез в нижний шкаф за банкой мёда, а она оказалась облеплена голодными муравьями.

Повторять дважды Антону не пришлось.

Он перестал заниматься муравьями в доме, упросив отца отдать ему полку в сарае, и вскорости полка заполнилась всяческими заготовками и уже готовыми муравейниками с живущими в них Семьями. Для муравьёв темнота и сырость были даже на пользу.

Но всё равно, несмотря на отцовый запрет, в те дни, когда папа не планировал приезжать на обед домой, в час, когда папа ещё совершенно точно был на службе, мальчик приносил одну из Семей (конечно, он брал только те формикарии, которые точно не развалятся, если упадут) в свою комнату и на несколько часов забывал обо всём. И о себе самом тоже. Там, за прозрачными стенками по извилистым запутанным ходам текла чужая жизнь, упорядоченная и подчинённая одной цели — жить вместе. И пусть муравьи жили в неволе самодельного формикария, но жили они полноценной жизнью большой семьи, которую объединял один общий (у каждой семьи свой) запах!

Мысль о том, что каждая Семья пахнет по-особому, изумила мальчика, до того не разу в жизни не задумавшись, благодаря какому чутью муравьи находят дорогу домой и как распознают именно свой муравейник. А задумавшись, вдруг с радостью вспомнил (так радуются старой игрушке, которую, ты думал, что давно потерял, а она вдруг нашлась сама собой), что человеческие дома тоже имеют свои, совершенно особые, запахи: в доме у соседей тёти Тани и дяди Васи пахнет цветами и ещё чем-то, от чего в груди Антона рождается теплое томление каждый раз, когда он заходит к ним дом; а в доме бабы Мани пахнет вкусным фирменным пирогом с абрикосовым вареньем (и как же здорово, что этот запах не исчезает даже в те дни, когда он ничего не печёт, и какие же дураки те пацаны, которые дразнят бабу Маню за родимое пятно на всю щёку); гости, которые время от времени приходят по вечерам к отцу, тоже приносят на себе запахи своих семей, вполне ощущаемые в букетах их одеколонов. И только запаха своего дома Антон не знал, как ни принюхивался, как ни старался. То ли мы не слышим своих запахов, то ли дом потерял его со смертью мамы. Может такое быть?

В середине весны уроки физкультуры стали проходить на стадионе. Нарезая круги вокруг футбольного поля, Антон за приметил, что поле с одного края побито оспинами муравьиных ходов, а в них туда-сюда снуют муравьи с необычно большой головой и длинным брюхом. «Какие же там солдаты, если это рабочие?», — думал он, пробегая мимо, и уже прикидывая, какого размера и из какого материала сделает для них формикарий.

Никогда ещё Антон не разрушал муравейник, но всё когда-нибудь случается впервые. За день до печальных событий, которые потом будут именовать «Сакской историей», Антон дошёл до конца футбольного поля, нашёл муравьиные ходы и опустился перед ними на землю. Чтобы ненароком не разбить пробирку, — будущую влажную и чистую тюрьму, где матка даст новое потомство для его личного царства, — отложил её в сторону. Взялся за лопатку, но перед тем, как воткнуть в землю, на короткое время застыл, залюбовавшись деловито снующими туда-сюда муравьями. Потом стряхнул с себя наваждение и с хрустом воткнул лопату в грунт. Откинул пласт вместе с прилипшими к металлу разрубленными муравьями и теперь замер, разглядывая результат убийства, не осознавая пока, что принёс смерть любимым существам.

Муравейник запаниковал - свет ворвался в те ходы, которые надёжно упрятаны под землей, где должно быть влажно и темно. Муравьи засуетились от неожиданной атаки, не понимая, на что реагировать, от кого защищаться. Антон воткнул лопату второй раз, она

вошла ещё глубже, снова убивая живых существ и разрушая сложную запутанную систему ходов живого муравейника.

Антон орудовал лопатой, внимательно вглядываясь в то, что выкапывал. Он искал яйца. Где яйца, там близко матка. Он разбивал лопатой комья выкопанной земли, разглядывая внутренности муравейника. Яма становилась глубже, но матки всё не было. Ходы сместились. Оказалось, семья сделала выходы на поверхности в стороне от главного города. Антон передвинулся на коленях, воткнул лопату туда, куда уходили улицы города, и там, наконец, появились яйца. Единичные, мёртвые, скорее всего из кладбищ яиц и городских отходов, но это был сигнал, что матка уже близко.

Зря он не взял кепку. Солнце палило вовсю. Опасаясь солнечного удара, Антон снял майку и повязал на голову на манер косынки. Хотелось пить, но воды с собой тоже взять не додумался. Не обращая внимания на жажду, как и на какое-то движение возле футбольных ворот на другом конце поля, он воткнул лопату и откинул очередной пласт — хруст и больше ничего. Снова и снова — ничего. Привстал над развороченной землей и с размаху воткнул лопату по-глубже и оробел.

Лопата вошла в грунт неожиданно легко, почти не встретив сопротивления. Антон утёр выступивший на висках пот. Гнездо! Та часть города, где ходов больше и они шире, и где-то там, куда проник совок, скорее всего, прячется матка. Но только сейчас в голову пришла мысль, от которой, несмотря на жару, по спине прокатилась волна неприятного холода.

Что если он выдернет лопату, а на ней разрубленная матка? Или не разрубленная, а с оторванными лапами или разорванными мандибулами? И вообще зачем!? Это же бессмыслица какая-то, — совершенно ясно осознал Антон, — разрушить муравейник, чтобы поставить ещё один формикарий на полку и смотреть на него украдкой, когда отца нет дома? Погубить тысячи муравьёв, которые останутся без своей королевы? Ведь они подохнут, пусть не сразу, а через неделю, или две — подохнут, лишённые Матери, лишённые ориентиров, фактически лишённые смысла жить, потому что жить не с кем и для кого.

И в этот момент он поймёт про себя всё. Или не всё, но многое, и окружающий мир внезапно вырастет до огромных размеров, а сам Антон ощутит себя маленьким, крошечным, как муравьиная матка, которая будет смотреть на него с лопаты, надвое разрубленная чужой непреодолимой волей, но пока ещё живая и дергающая лапами.

В голове зашумело, и мир качнулся, как тогда, на похоронах. Стержня нет. Того стержня, на котором держится семья. Вырви матку из гнезда, и дети станут слепыми и потерянными. Он по-настоящему, по-взрослому, безвозвратно прочувствовал, что его стержень, тот самый, к которому он по ночам прокрадывался и укладывался под тёплый бок, исчез из его жизни навсегда. Навсегда... Стержень оказался выдернут с мясом, и к этому ни он, ни отец оказались не готовы, а святое место заполнила пустота и расплзлась оттуда по всему дому, по каждой комнате, высосала запах их семьи прежде, чем они с отцом смогли бы привыкнуть к ней, научиться в ней жить.

В голове шумело, а сердце стучало громко-громко. И не было для Антона в тот момент ничего хуже, чем собственное горе, уместившееся в одном слове «навсегда». И когда в поле зрения попали чьи-то ноги, Антон не сразу их заметил. Но спустя секунду рядом с первой парой появилась вторая, в кедах, а потом третья и четвертая и пятая. Перестав их считать, заторможенно Антон поднял голову.

Малой надменно смотрел сверху вниз, чавкая жвачкой и подбрасывая в руке футбольный мяч.

В первое мгновение Антон подумал, что солнце шутит над ним, потому что так не бывает, чтобы вот так... Но додумать её не успел, потому что пришла новая, и она ему не понравилась. «Какого фига?»

Его окружили мелкие, если конечно можно считать мелкими тех, кто всего на год-два младше. В детстве разница в даже год (не говоря уже о двух) кажется огромной пропастью, поэтому его всё таки окружили мелкие. Лопату Антон так и не выдернул, черенок выглядывал из ямы на пару десятков сантиметров. Антон про неё и думать забыл, потому что выражение лиц мелких ему не нравилось.

— Что надо? — Спросил Антон, и собственный голос показался ему недостаточно твёрдым.

— Шоколада, блин. — Все дружно заржали, словно Малой действительно остроумно пошутил. — Есть у тебя шоколад, а?

— Валите отсюда, мелкие.

— Ты сам мелкий-пелкий, — сказал толстый коротыш справа от Антона, и все снова загоготали.

— Ты чего нам поле лохматишь? Кто будет его назад завязывать?

— Чего? — Антон уставился на того, который путал слова — его лицо было бледным, язык, словно у ящерицы, вылезал изо рта и облизывал губы. «Он обкурен» — обалдел Антон. Он оглядел пацанов. Каждый был в какой-то степень под кайфом, но этот явно перебрал больше остальных.

— Дед-пихто, — ответил бледный, и все снова заржали.

— Закапывай, давай! — Малой поддел ногой землю и бросил в яму, не рассчитав силу.

Комок земли пролетел над ямой и попал в Антона, распавшись на коленях земляной крошкой и муравьями.

Антон стряхнул с себя землю и вскочил.

— Ты чего, Малой, охренел? Ты соображаешь, что делаешь? Я же вломить могу.

— Кто? Ты? — Ответил Малой.

— А правда, ты с собакой трахаешься? — спросил толстяк.

До Антона дошло. Они пришли играть не в мяч. А ещё пришла мысль, что так не должно быть в жизни, чтобы в самый трудный момент всё становилось только хуже. Он знал, чей сын перед ним. И знал, какого фига они к нему доколебались. Этот день настал, подумал Антон, оглядывая окруживших его пацанов.

Малой (как и его старший брат по кличке Глыба) были детьми Егора Галыбина, того самого отморозка, который насмерть сбил мать Антона. Сейчас Глыбе было шестнадцать, а Малому десять, их имена Антон если когда-то и знал, то забыл, как стихотворение, выученное на позапрошлогодний экзамен.

С того дня, как Галыбин-старший оказался под следствием, братья стали бросать косые взгляды на Антона, как будто их отец оказался за решеткой невинно, как будто это не их отец, обширный наркотой, наехал на человека и спокойно уехал спать. Антон не понимал этой злобы и не принимал к сердцу, тем более, что за три года ни Глыба, ни Малой не сделали ничего из обещанного... Балаболы.

Всё круто изменилось в тот день, когда Галыбина старшего прирезали в тюрьме. Это случилось прошлой осенью, и по городу пополз слух, как огонь по сухим склонам, что убийство подстроил отец Антона. Ещё бы, у заместителя начальника райотдела все карты на руках, открыты все входы и выходы, подсунуть в камеру шило, чтобы сокамерники прирезали Галыбина глубокой ночью — пустяк.

Только отец не сделал ничего такого, Антон был уверен. Иначе почему в отце пружина после этой новости не исчезла вовсе? Всё это время (в первые годы чаще, в последние реже) Антон ощущал присутствие в отце этой пружины — она то сжималась до предела (и отец становился вспыльчивый и резкий), то в какой-то момент расслаблялась (расслаблялась, как правило, после тех ночных «рыбалок» или «охот», на которые отец друзей брал, собаку брал, а Антона никогда). Когда пришло известие, что Галыбина прирезали, пружина сжалась с такой неистовой силой, что несколько дней воздух в доме словно звенел от напряжения, а Антон боялся попадаться отцу на глаза. Он не верил слухам, но доказать никому ничего не мог, впрочем и не старался, не считая нужным. Но галыбинским детям, похоже, нужен был только повод, и с того дня из коридоров школы до Антона стали долетать грязные слова и даже угрозы заловить и отгнзидить.

Видимо, этот день настал, думал Антон, оглядывая окруживших его пацанов, с облегчением отмечая, что старшего Глыбы среди них нет. И как же Малой решился без братишки?

Но видимо что-то изменилось, если такая трусливая тварь, как Малой (все знали, он смелый исключительно когда за спиной маячит брат или по меньшей мере пяток корешей такого же возраста) решилась наехать. Что-то изменилось в Малом, понял Антон, глядя тому прямо в глаза. Малой вырос, он уже не шестилетний первоклассник, каким был, когда последний раз видел отца на воле. Ему десять лет и с ним десяток таких же как он, а по их сосудам качается кровь с растворённым в ней наркотиком, и не нужно был экспертом, чтобы понять, каким. Просто принюхайся.

— А что ты делал здесь? — Спросил другой. — Муравьёв на обед выкапывал?

Все снова заржали.

— А это что такое? — Малой наступил на пробирку. Она вдавилась в рыхлую землю и хрустнула под ногой напополам. — Ой!

Он притворно округлил глаза.

— Я нечаянно раздавил. Я не хотел.

— Всё ты хотел, мудака. — Отрезал Антон.

— Что он сказал? — Обратился Малой к толстяку. — Нет, ты слышал, как он меня назвал?

— Ага, — заржал толстый, — этот собачий педик сказал, что ты мудака.

— Он и правда так сказал? — Обратился Малой к бледному. — Ты слышал, что он первым обозвал меня мудаком?

Бледный кивнул, издав что-то нечленораздельное. Антон развернулся в пол оборота, чтобы бледный оказался по правую руку, каким-то чутьём понимая, что время разговоров подходит к концу, и готовясь в первую очередь бить этого, самого укуренного, чтобы через него вырваться за круг.

— Да я твою дохлую мамашу в рот ебал, ты педрила сучий! — выплюнул ему Малой.

Внутри Антона словно взорвали пузырь с кипятком. Ярость, до сих пор неизвестная ему, вдруг залила его изнутри и вместо того, чтобы бить бледного, Антон ринулся к Малому и в свой кулак вложил всю свою силу, намереваясь разбить в кровь морду этого ублюдка.

Кулак не успел долететь до цели, как Антон споткнулся об лопату, торчащую черенком из земли, рухнул к ногам Малого, ощущая, как невыплеснутая ярость сжигает его изнутри, выдавливая из него злые слёзы, что не смог, не достал.

Земля забила бы рот и глаза, если бы он не успел сжать губы и зажмуриться. Его били ногами. Он слышал гогот над собой, дикий ржач, доносившийся сквозь вату в голове и молотящее в ушах сердце. Закрывал лицо локтями, а живот коленями. Пытался подняться, но мелькающие перед лицом кеды заставляли его закрываться, кататься по земле и группироваться. Как вдруг в спину упёрлось что-то твёрдое и Антон понял, что это шанс. Лопата!

Извернувшись, схватился за черенок, пропустив при этом удар в живот, от которого яйца подобрались в два тугих комка, а моча потекла в штаны, собрался, вскочил и выдернул лопату, а потом, вложив все силы, ударил наотмашь воздух перед собой, словно теннисной ракеткой отбил мяч.

Лопата врезалась в кого-то с такой силой, что Антон успел почувствовать секундную вибрацию, передающуюся от совка. Развернувшись на месте, Антон наотмашь ударил лопатой в противоположную сторону, словно лютый маятник, сошедший с ума. Лопата врезалась в кого-то ещё, на этот раз с глухим металлическим звуком, в ту же секунду кто-

то заверещал от боли, перемежая маты призывами к мамочке. И все сразу расступились, оставив Антона одного с лопатой. Сердце выпрыгивало из груди, в висках стучало, ничего нигде не болело, словно его и не били. Антон стоял с лопатой над Малым, а тот держался за рот и нос, и кровь пузырилась между пальцами...

— Он так и сказал? — Отец перестал жевать и замер, словно в играл в «Море волнуется раз», хлебная крошка повисла на нижней губе. — А ебалка-то у него выросла? Или всё ещё малюсенькая, зассанная и липкая на конце?

Не готовый к таким словам, Антон замер и уставился на отца, который с видом человека, у которого внезапно исчез аппетит, положил на тарелку недоеденный бутерброд, подошёл к раковине и пустил на руки струю воды. Вода шипела и плевалась пузырями.

— Вчера в дежурку пришла его мать. Орала, что ты её сына изуродовал, и что она засадит тебя в тюрьму для малолетних.

Он закрутил кран, выдернул полотенце из кольца-держателя и стал вытирать пальцы с такой силой, что кому-то другому наверняка мог бы и по-отрывать их один за одним.

— А сучонок был под кайфом. Зрачки как точки. Дежурный их вышвырнул к чертям и сразу мне позвонил.

Отец вытер все пальцы и кинул полотенце на стол, не заметив, что оно упало на колбасу.

— Всё ты правильно сделал, — отчеканил отец и в упор посмотрел на сына. — Подними майку.

Антон задрал майку, обнажив кровавые подтёки.

— Мазал чем-нибудь?

Антон пожал плечами.

— В аптечке гепариновая мазь. Я уйду, намажься. Дальше что было?

Антон снова пожал плечами.

— Домой пришёл, помылся. А потом приехал Глыба с пацанами. Молотили в ворота.

— Глыба - это старший сын?

— Ну, да.

— Хм. Отец — Галыба, сын — Глыба. Ну-ну, что хотели?

— Глыба кричал, что придушит.

— А ты что?

— Я соврал, что собаку спущу.

— А он?

— Сказал, попробуй, и увидишь, какого цвета у неё кишки.

— Что дальше?

— Глыба кричал, что я ссыкло и чтоб сегодня пришёл на стадион.

— Во-сколько?

— В час.

Отец посмотрел на настенные часы над дверью. Без пятнадцати десять.

— Пойдёшь?

Антон молчал, опустив голову, разглядывая под столом руки.

— Да, — чуть слышно сказал он.

— Пойдёшь, — словно сам себе сказал отец и после долгого молчания добавил: — Боишься? Только честно.

Антон ещё ниже опустил голову и кивнул. Пальцы под столом уже заметно дрожали.

— Собаку дома закрой, чтобы не выбежала. Порвёт всех, если учует, что дерёшься. Глыба качок или укурок?

— Укурок? — Антон нахмурился и поднял на отца непонимающий взгляд. — А, в этом смысле. Да, укурок.

— Ну, да. — Утвердительно кивнул отец. — Мог бы и не спрашивать. Семейка отморожков.

Он склонил голову и стал чесать глаза. Когда отнял от лица руки, белки глаз покраснели, почти как у кроля...

Спустя час мальчик выпустил из ворот синий фольксваген отца. Машина подняла сухую пыль с грунтовой дороги, выехала к шоссе, разрезающем город на две половины, включил левый поворотник и стал ждать промежутки в потоке машин, транзитом следующих через его город.

Примерно в это же время за шестьдесят километров от этого места, хозяйка Lada Kalina неудачно оттолкнула от себя продуктовую тележку. А в то же время со стороны Евпатории в направлении Сак выехал мощный джип с длинным кузовом, накрытый чёрным стеклянным куполом.

Стрелки на кухонных часах показывали, что до встречи на стадионе оставалось чуть больше двух часов...

Спаси и сохрани их, Господи

Mitsubishi L200 огромной чёрной пчелой летел над трассой, проносясь мимо туристических палаток с солнцезащитными тентами, мимо импровизированных кухонь и автомобилей, припаркованных на поросшем выгоревшей травой песке. Машины днём безропотно плавались на солнце и покрывались жёлтой пылью, а по ночам на их запыленных бортах солёный морской ветер рисовал причудливые узоры.

Между машинами и кромкой воды трепыхали на ветру самодельные уродливые туалеты — обтянутые целлофаном четыре палки, воткнутые вокруг свежевырытых отхожих ям. Не обращая внимания на близость кухонь и туалетов, отдыхающие загорали под обжигающим июльским солнцем, точно вкопанные в песок миниатюрные копии Христа-Спасителя. На раскинутых в стороны руках шелушилась кожа. Дети с гоготом и визгами плюхались в море, ещё беспокойное после ночного шторма. Волны подняли со дна песок и глину, щедро нагнали к берегу, отчего вода стала мутная и зеленоватая. Шторм набросал на берег бурых водорослей, медузьи тела растекались по песку и постепенно высыхали на жарком полуденном солнце, превращаясь в несъеденный холодец.

Ничего этого сидящий в пассажирском кресле джипа Роман видеть не мог, но ему и не нужно было — прожив в посёлке Черноморском две недели, он хорошо представлял, что происходит на берегу после шторма.

По другую сторону от трассы тянулись рельсы железной дороги. Навстречу, со стороны Симферополя, прогремела синяя электричка с жёлтой полосой через весь борт. В окнах набитого людьми электропоезда торчали разнообразные части тел, и этот крымский колорит стоил бы нескольких улыбок или веселых шуток, но секунду поразмыслив, Роман не решился отвлекать жену от дороги, тем более, настроение у неё от ещё одного «крымского убожества» (по её мнению) вряд ли прибавится.

Проводив взглядом электричку, Роман задержался на профиле жены, Лора вела машину, не отрывая глаз от дороги, меж бровей привычно залегала складка, грозящая превратиться в стойкую морщину уже лет через пять. Если, конечно, Лора не поменяет отношение к жизни на более доброжелательное, в чём Рома уже по прошествии двух месяцев после свадьбы начал сомневаться. Но невзирая на Лоркину раздражительность, Роман был готов сейчас признать её правоту (да что там «готов», он уже признал): ехать сюда не стоило, они не получили того, на что рассчитывали, точнее, на что рассчитывала она.

Идея провести первый совместный отпуск с женой в Крыму принадлежала Роману. Две недели на северо-западном побережье Крыма объедаться черноморскими креветками и пить ледяное Черниговское? Неплохо? И недорого.

Вообще-то причина, по которой Роман стремился именно в Крым, была другой. Хотелось увидеть старого друга, с которым Роман сдружился ещё в колледже. В кого превратился пацанчик, когда-то перелюбивший половину женского населения в общаге? На ком женился? От какой красавицы ребенка захотел? Роман просто сгорал от

любопытства, но не объяснишь же этого своей женщине спустя два месяца после свадьбы. Любой мужик бы эту причину понял, но только не Лора. Это точно.

Роман опустил взгляд в глубокий вырез рубашки на жене. Лора не носит бюстгалтеры, ей ни к чему, если, конечно, считать, что их предназначение - поддерживать грудь. Зато соски как две трюфельные шоколадки, большие, овальные, почти всегда стоят. Чёрт возьми, Роме тоже хотелось похвастать женой. Изящная, сексуальная, столичная. Эдакая штучка с нехилой карьерой, джипом и квартирой в центре Киева... Квартира такая, что выйдешь в субботу утром с чашкой кофе на балкон, а внизу Кондратюк снимает «Караоке на Майдане». Может быть, из-за одного только взгляда, которым Саша облизнёт его Лору, Роман и затеял эту авантюру с отдыхом в Черноморском. Но Лорке как об этом скажешь?

Роман смотрел ей в вырез, где тёмные острия сосков прокалывали изнутри неглаженую ткань блузки. Потом скользнул ещё ниже. Там край рубахи заканчивался на бёдрах, открывая её загорелые ноги почти до трусов. Мысленно представил Лору голую на диване с разведёнными ногами. В джинсах стало тесно. Он залез рукой за пояс брюк поправить там всё, чтобы не упиралось и не болело.

Лора повернула на это движение голову.

— Что за хрень?

— Хочу тебя, а что? — Ответил он после неловкой заминки.

— Хоти. Я люблю, когда меня хотят. — Сказала она довольным тоном, и показала рукой на дальние склоны за железной дорогой: — Я спрашиваю, что там за хрень.

Над склонами, часть которых была выжжена, курился дым, словно кто-то замалевал их под гигантскую копирку или превратил в черные пожарища. Роман отпустил стекло со своей стороны и высунул лицо. Встречный воздух безжалостно ворвался в ноздри, в рот, надул щёки. Дыхание на мгновение остановилось, словно лицо оказалось в целофановом мешке.

— Что ты делаешь?

Роман повернул голову и, справившись со встречным потоком, сделал глубокий вдох.

— Что ты делаешь? — повторила Лора и на несколько секунд оторвалась от дороги, разглядывая мужа.

Роман откинулся назад в кресло и запрокинул голову. Он улыбался.

— Это дети.

Лора опять посмотрела на него и вернулась взглядом на дорогу.

— Жгут траву, — продолжал Роман.

— С чего ты взял?

— Сам такой был. Она загорается на раз-два. Обожаю этот запах. Вокруг интерната были такие же склоны. Трава к сентябрю высыхала, ломкой становилась. Сорвёшь травинку — безвкусная. В муравьиный ход сунешь, они на неё даже не бегут. Спичку поднесёшь — загораться сначала не хочет, пламя гаснет. А потом пуф — и пополз огонь по земле, травинки сворачиваются, как волосы на руке. Чуть зазеваешься — ноги обжигает.

Лора слушала его с безразличным видом.

— Мне он всегда запах варёной кукурузы напоминал. Обожаю этот запах. Открой у себя, понюхай.

— Ща.

Стекло со стороны Романа само поехало вверх. Роман нажал на кнопку, чтобы опустить стекло — подъемник не срабатывал.

— Ты заблокировала мне окно?

— Да.

— Зачем?

— Машина провоняется.

Он хотел было возразить. Но пожал плечами, подчиняясь — этому он научился ещё в интернате. Иногда Лора вела себя, как эгоистка, будто бы утверждалась, напоминая ему и себе, чья это машина, чья квартира и на чьи деньги они живут. Хотя про деньги могла бы и не говорить, Роман зарабатывал нормально. Не много, это да. Но и не мало. Нормально. Это она зарабатывала ненормально много. Ну и пусть, с него корона не упадёт. Просто, хотелось бы реже от неё получать такие щелчки по носу.

Гавкнула собака. Он обернулся. С заднего сиденья на него смотрел чёрный скотч-терьер.

— Что, малыш? Тебе тоже не нравится?

Двусмысленность, прозвучавшая в вопросе, повисла в салоне. Собака и её хозяин обменялись взглядами, и Роману показалось, Карандаш всё понял. Он потрепал собаку за мохнатую щеку и погладил за ухом.

— Спать. Спать. — Скомандовал он и добавил уже нормальным голосом: — Ложись, малыш. Нам ещё долго.

В интернате, где Роман провёл детство, числилось больше двухсот детей. На них приходилось пять спален, примерно по сорок кроватей в каждой, в одной больше, в другой меньше. Девочки занимали одну спальню, мальчики все остальные. При таком раскладе никаких комнат по возрасту не было, младшие спали в одной комнате со старшими, но преподаватели не видели в этом ничего плохого... ну или успешно закрывали на это глаза. А что они могли изменить, комнат же не пристроишь.

Интернат размещался на территории старой усадьбы, принадлежащей какому-то графу, фамилию которого Рома, конечно, слышал и должен был бы помнить, но он не помнил, на кой она ему? А может то был и не граф, а князь или вообще боярин какой-нибудь, невелика разница — Рома слышал эту историю так часто, что в памяти от неё не осталось ровным счётом ничего, как не остаётся в голове политический рекламный ролик, если его крутят по телеку сотню раз на дню.

Да и сама история про графа была неинтересная. Ну, пришла революция, ну, отобрали у графа дом, сослала в Сибирь. Там он и помер от чахотки. Другое дело, если бы его расстреляли прямо в этом доме на главной лестнице, ведущей на второй этаж. Это запомнилось не в пример лучше, когда каждый день ты ходишь по тем же ступням, по которым восемьдесят лет назад лилась графская кровь, и пустые гильзы звонко скакали по лестнице, а им вслед стелились пороховые газы.

Долгие годы после революции дом пустовал. В разное время в нём устраивали то амбар, то хлев, то ещё что-нибудь. Было время, в нём размещался штаб военной дивизии. Дом медленно приходил в упадок, фасад рушился, башенки на крыше исчезли между сороковыми и шестидесятыми, лепнина вокруг сводчатых окон исчезла уже во время правления Брежнева, а сами окна в какой-то момент превратились из арок в неоштукатуренные прямоугольники, выложенные на откосах жжёным кирпичом. От графской архитектуры оставалось всё меньше и меньше, но никто по этому поводу не убивался. Кому нужен старый дом на отшибе, вокруг которого ни леса, ни садов, а только холмы, летом регулярно выгораемые от солнца и шаловливых рук детворы, прибегающей сюда из ближайшего посёлка?

В тот год, когда родился Рома, произошло два события — одно важное для страны, в которой ему предстояло жить, а второе — важное лично для него: умер товарищ Брежнев; а в старом графском доме организовали приют для детей-сирот, и поселковый плотник на главный фасад графской усадьбы прибил табличку «Памятник архитектуры. Охраняется государством».

Рома стал сиротой два года спустя, когда ненадолго сменивший Брежнева товарищ Андропов умер в рабочем кабинете, а родители Ромы погибли в автомобильной аварии, и мальчика Рому определили в тот самый детский дом, который по бумагам проходил архитектурным памятником, а на деле сильно напоминал развалины.

Пристраивать помещения к памятнику категорически запрещено! Примерно такой ответ получала заведующая «Детского дома» Маргарита Сергеевна Старунчак на просьбы расширить площадь, пригодную для жилья. Хорошо ещё деньги на текущий ремонт время от времени выделялись, поэтому Роман не помнил времени, когда сильный дождь затапливал спальни — к возрасту, когда Рома смог воспринимать и запоминать реальность, самые критичные жилищные проблемы в усадьбе были решены. Но жилищные — не человеческие. А последние с каждым годом становилось всё острее, и не последнюю роль в этом сыграло изменение статуса детского дома.

Однажды, когда Роме исполнилось семь, он вместе со всеми заснул в «детском доме», а наутро проснулся в (так написали в документах) «школе-интернате для детей-

сирот». По факту же, уже через неделю после смены статуса, в графскую усадьбу прибыло несколько «трудных» детей, которые сиротами не были совершенно. А кем они были, так это малолетними уродами, поведение которых «внушало тревогу» органам правопорядка (в разгар горбачёвской перестройки формулировки стали корректными, но смысл от этого не изменился). Кто-то решил, что в бывшем детском доме (где самым страшным ЧП за всю историю существования, было воровство буханки хлеба с кухни) смогут перевоспитать детей с явными агрессивными склонностями.

Спальни не делились по возрастам. Знала ли заведующая, что это противоречит нормам воспитания? Наверное, да. Даже не «наверное», а «наверняка». Конечно, совсем малыши жили в отдельной комнате, но в оставшихся трёх мальчишки были перемешаны, как овощи в винегрете. А что? А как ещё?

Мальчишки кучковались по возрастам, но скрываться от старших пацанов в спальнях это не помогало - те были везде. Старшие обычно тусили возле своих кроватей (конечно же, их кровати стояли под окнами, где же ещё?), но их гогот и ругань были слышны в каждом углу спальни. Четырёхлетки, ещё год назад жившие в отдельной спальне для малышей, испуганно жались по своим кроватям, натягивая на лица одеяла, и ждали, когда старшие утомонятся. А те не успокаивались даже после того, как во всех спальнях централизованно выключали свет. Они затихали только после визита Маргариты Сергеевны, нестарой сухопарой женщины с высоким шиньоном бордового цвета на голове.

Она зыркала на пацанов, а те с деланной неохотой расходились по кроватям. Ей не перечили, Роман слышал (или то были только слухи), в её столе лежат розги, самые настоящие, такие же, какими, наверное, лупили Ленина, когда тот был ещё Ульяновым, и что был случай, когда шестнадцатилетнего пацана почти перед самым выпуском из интерната она заперла в учительской и лупила розгами куда дотягивалась. Никто не знал точно, за что именно (история передавалась между детьми, как вирус гриппа, который вроде бы исчез, а потом — бац — и по осени снова возникает), но Рома в розги верил. Видимо, верили в розги и старшие пацаны.

Много лет спустя, когда жизнь круто переменится, Роман признает интернатовские порядки похожими на зековские: кровати «бугров» под окнами, «хозяин» с розгами, унижения и страх. Неудивительно, что человек старается забыть всё это. Но очень скоро у затопленного ракушнякового карьера Роману предстояло стирать свою кровь с разбитого лица, и вот тогда он в полную силу ощутит, что всё забыть невозможно. Прошрое, протухшее и отвратительно тхнувшее хлоркой, снова вернётся...

А пока он сидел в комфортном автомобильном кресле с боковой поддержкой спины и удобным подголовником, наслаждался мягким охлаждённым воздухом, подаваемым соплами большого джипа, который играючи пожирал километры трассы Черноморское-Симферополь, и не подозревал, что «Аннушка вот-вот разольёт масло на трамвайные пути». Единственное, что его тревожило, была отвратительная манера его молодой жены показывать, что хозяйское положение в семье принадлежит именно ей. «Ну и пусть», — думал он, — «корона с меня не свалится».

Антон выглянул за ворота. Никого, пусто. Захлопнул за собой калитку, язычок автоматического замка лязгнул за спиной. Спрятал руки в карманы, оглянулся ещё раз и пошёл быстрым шагом в сторону школы. Чтобы попасть на стадион, нужно миновать «Везунчик», свернуть к мусорке, дойти до придорожного рынка, перейти трассу, а оттуда вверх по усаженной тополями дороге.

Дана не хотела отпускать его со двора. Она как будто сердилась, не хотела идти на привязь, вырывалась из ошейника, трясла головой, да ещё так отчаянно, аж порывивала. Антон затянул ремешок на шее, схватил за шкуру, притянул к себе и поцеловал в макушку, прямо в рыжее пятно. Дана вдруг замерла и посмотрела странным взглядом, от которого побежали мурашки. Антон отвернулся и быстро вышел со двора, захлопнув ворота. Отходя от дома, он всё ещё слышал, как Дана продолжает сбрасывать ошейник, но это не имело значения — даже если вырвется с привязи, забор не перепрыгнет.

Он вышел к «Везунчику». Разбросанные среди разнообразного мусора пустые бутылки играли солнечными бликами. Солнце жарило землю, дожигая невытопанные остатки растительности. Все жители радовались, когда стало известно, что здесь откроется магазин: можно купить молоко, хлеб, соки (да, в принципе, вообще всё) под домом и не тащиться за мелочёвкой через трассу в супермаркет «АТБ». На деле магазин стал популярен среди местных алкашей. Теперь они могли купить водку в любое время ночи и тут же её распить, что они и делали регулярно, разбрасывая вокруг бутылки и оглашая округу заливистыми воплями.

Антон пересёк площадку перед магазином, пустующую в это время (алкаши соберутся позже, когда спадёт полуденная жара), свернул к мусорке, и дойдя до контейнеров, не пошёл дальше, а зашёл за каменную стенку, ограждающую баки, и тяжело опустился там в траву. Сердце колотилось с каждым шагом сильнее. И в кроссовки словно налили холодной воды. Он извлёк из кармана свинцовый цилиндр, сжал его двумя руками и зажмурился. «Если не хочешь стать грушей для битья...» — Антон пытался оседлать страх, вызывая в памяти недавние слова отца...

— Ты возмёшь это и это.

Отец выложил на стол нечто, напомнившее Антону кусок пластилина, который вытянули в колбаску и немного сжали в кулаке. Только пластилин мягкий, а эта вещь была твёрдая, тяжелая, и тускло блестела свинцом. А рядом (брови Антона полезли вверх) вроде искусственная челюсть, только беззубая. Антон поднял глаза на отца.

— Свинчатку в кулак, капу в зубы. — И глядя на сына, пребывающего в недоумении, спросил: — Ты понимаешь, что драки не будет? Понимаешь, что тебя там будут мочить толпой?

Антон сглотнул и мотнул головой.

— ...один на один...

— Это ты там будешь один. Никаких правил не жди, типа «до первой крови» или «по яйцам не бить». Тебя там будут бить. Слушай сюда...

От мусорных баков воняло кислотой. Антон открыл глаза и повернул свинчатку так, чтобы солнечный свет скользнул по неровностям на металле.

Откуда и зачем эта вещь, он не спросил отца. Если свинчатка отполирована до такого блеска, отец или лупит ею по боксерским грушам или не по грушам... Свинец на ладони одним своим видом придавал мальчику сил. И вроде бы сердце уже не так колотит в грудь, и страх понемногу отступает. Часы на руке показывают без десяти минут час. Подожди ещё, мысленно слышал он наставления отца...

— Ты должен прийти последний, когда они все соберутся. Ты увидишь всех и сразу. А они не успеют перегруппироваться. К тому моменту они уже решат, что ты сдрейфил и не придёшь. Они расслабятся. И в этот момент ты должен появиться.

— Не беги к ним, но и не тащись. Ты должен идти немного быстрее, чем человек, который идёт в гору. Они не должны насторожиться при виде тебя.

— Ты появишься запыхавшийся после подъема — это не страшно. Ты сделаешь всё правильно, и драка кончится до того, как ты переведёшь дыхание. Частое дыхание и адреналин тебе помогут начать...

— Вставай! — Антон словно мысленно слышал команду отца и вскочил. Стрелки на часах показывали пятьдесят пять минут первого. Самое время. Он сунул кастет в карман. Не обращая внимания на кисло-рвотную вонь, которой благоухают мусорные баки, несколько раз набрал воздуха в грудь и выдохнул. Сердце забилося чаще, мышцы на руках словно запели. Он низко опустил голову и, ощущая, как земля пружинит под ногами в такт ударам его сердца, двинулся к трассе.

Дана не переставала бороться с ошейником. Она рычала, упиралась толстыми лапами в землю и бешено крутила головой, выписывая восьмёрки и подпрыгивая на месте. Кожаная петля на шее понемногу двигалась, а Дана не прекращала дёргаться. В тот миг, когда Антон вышел из-за мусорных баков, ошейник вдруг соскочил и упал к ногам собаки, как мёртвая змея, а собака ещё несколько секунд продолжала мотать головой и рычать, не сразу осознав, что свободна. Она отбежала от поводка, внимательно его рассматривая, словно тот мог на неё кинуться и снова пленить. А когда убедилась, что её ничто не сдерживает, рванула к забору.

Прохладная рыхлая земля. Её влажный тяжёлый запах дразнил и напоминал Дане о тягучих днях, когда задолго до рассвета она выезжала с людьми на больших машинах в поля, где раскисшая от тёплых дождей земля липла к лапам, а мужчины рядом с ней вскидывали ружья и стреляли по жирной утке или по ароматному зайцу, оставляя Дане работу принести подстреленную дичь. Тогда она стремглав бросалась в кусты, или в подлесок, или в холодный пруд, чтобы достать, ухватить, принести хозяину. И каждый раз, когда она трусила назад с добычей в зубах, она испытывала это будоражащее

ощущение, волнительную внутреннюю дрожь, от того что в зубах трепещет угасающая жизнь, отчаянно бьётся крыльями или сучит лапами, а теплая наполненная страхом кровь стекает из раненого существа прямо в пасть, на язык.

Но сегодня вкусная влажная земля не звала. Дана не хотелось лечь под большими листьями, дающими прекрасную тень, не хотелось зарыться носом в землю и мечтать о будущих днях охоты. Она бросилась к забору и стала грести, яростно разбрасывая по двору комья земли, за которые Хозяин сильно накажет. Она чувствовала Страх.

Дана учуяла его ещё вчера, сразу, как только они с Хозяином вернулись домой. Шерсть на загривке зашевелилась от густого мутного аромата, который знает каждая собака. Волна немотивированной злобы накатила на Дану, но тут же испарилась, когда Дана учуяла — боится Мальчик. Её Мальчик. Собака заскулила, тревожно заметалась в кузове грузовика, готовая спрыгнуть, и когда машина ещё только подруливала к двору, собака уже сидела у ворот и от внутреннего напряжения била по гравийной дорожке толстым хвостом. И даже потом, когда Хозяин счищал чешую с большущей аппетитной рыбы, Дана неподвижно сидела перед окном Мальчика и ощущала, как оттуда тревожными волнами по воздуху распространяется тяжёлый аромат страха. Мальчик не спал, Дана чувствовала. Она гавкнула негромко, подождала какое-то время, а потом улеглась под сараем, поглядывая на немое окно, где мальчик притворялся спящим.

Она уронила морду на землю между лапами, тоскливо переводя взгляд с Хозяина, занятого разделкой рыбы на заднем дворе, на темный провал окна, за которым Мальчик начал проваливаться в сон, и неплотные детские сновидения, рваные и тревожные, поплыли в ночное небо.

В тот день, когда мёртвую Женщину выносили из дома в ящике и приходило много людей, Хозяин запер Дану в сарае. Но и там, в спёртом воздухе, слишком сильно ощущались настроения чужаков, заполонивших двор. Так воняет высушенная солнцем трава, сгоревшая на дальних склонах — воняет куда-бы не дул ветер. Мысли людей, как тёмные облака в небе перед ненастьем, клубились в воздухе, создавая бессмысленный для собаки хаос, среди которого чуткий нюх улавливал вспышки разных человеческих страхов. Шерсть на загривке шевелилась, хотелось бежать неизвестно куда и хватать зубами неизвестно кого, но сарай позволял ходить только от стены к стене. Дана яростно двигалась в темноте, клацала зубами, силясь укунить хотя бы пыльные косые лучи, падающие от дверных щелей, и скулила, захваченная неизвестной до этого дня тревогой. Временами она прекращала яростное хождение по сараю, останавливалась и вглядывалась в пустое пространство заднего двора.

И вдруг она застыла, а затем взвыла на одной пронзительной ноте. Все эти долгие минуты своего заточения она чувствовала мальчика, закрытого ото всех, как и она сама, только не в сарае, а в какой-то в глубокой норе, откуда его мысли доносились до Даны с трудом, словно намокшие и отяжелевшие от грозовой влаги. И вдруг мальчик исчез! Его нора опустела, словно в её глубине раскрылась бездонная высасывающая всё пустота, в которую ребенок стремительно соскользнул. Дана пронзительно завывала, испугавшись своего же воя в наступившей тишине.

Шерсть зашевелилась сама собой, хвост задёргался от близкого ощущения беды: мальчик лежал в луже воды, а его душа уже исчезла в объятиях чёрного вестника, и все собаки в округе учуяли вестника смерти. Они взвыли вслед за Даной и, многоголосое эхо накрыло людей. Чувства человеческой стаи всколыхнулись, заштормили, острия страха взметнулись в небо, захлестнули небо ужасом и чем-то глубинным, суеверным, отчего Дане самой стало страшно.

И вдруг Мальчик вернулся. Вестник выплюнул ребенка, словно его кто-то спугнул, и отошёл от мальчика, оставив ребенка живым, мокрым, слабым. Дана ощутила трепыхание мальчишечьего сердца так же ясно, как если бы оно билось у неё в груди. Отчего-то вкус воды появился на языке, словно она открыла пасть и сунула морду в реку. А запах смерти стал слабеть, всасываясь вслед за Вестником в Чёрную Нору, густая темнота которой ещё маячила за спиной ребенка. Дана замолчала, следом стихли другие собаки. Истощённые, обессиленные похоронным воем, они укладывались во дворах в тень, где отлёживались потом, пребывая каждая в своих далеко несветлых мыслях.

Дана замерла в сарае и наострила обрубки ушей. Что-то происходило в комнате мальчика. Густой и суровый запах Хозяина смешался с робким запахом мальчика, поглотив его, как большая туча закрывает собой солнце. Со своего места она могла видеть заднюю стену дома. Занавеска надулась в раскрытом окне мальчика, словно большой рот подул на неё. Дана смотрела сквозь дверные щели на окно, в котором вдруг возникло лицо мальчика. Глаза человеческого ребенка нашли её и не отпустили. Впервые за всю свою жизнь она в упор смотрела на человека, не в силах отвести взгляда — что-то в глазах мальчика заставляло Дану волноваться по-новому, тревожно и приятно одновременно. Образ теплых материнских сосков возник перед её мысленным взором, он соединился с образом мальчика, и собака ощутила невероятную тягу к этому малышу. Она стала царапать дверь изнутри когтями и погавкивать, а мальчик перелез через окно и, шатаясь, двинулся к сараю.

Дверь открылась. Яркий свет, окутавший фигуру ребенка, больно резанул по глазам собаки. Одновременно с этим Дана учуяла слабый запах смерти — от мальчика всё ещё исходил запах той норы. Дана тонко заскулила и присела, даже так оказавшись выше мальчика. Мальчик словно из последних сил подошёл вплотную, обхватил её толстую шею и, вжавшись лицом в шерсть, стал оседать, пока не сполз на пол, оказавшись между лап.

Подставив мохнатый бок, Дана улеглась рядом, а мальчик по-щенячьи свернулся и дрожал, как тополиные листья дрожат на ветру. В те мгновения Дана ощутила мальчика «Своим Мальчиком» — ребенком, которого она боится потерять, ребенком, которому нужна Мать.

Вонь страшной норы постепенно улетучивалась, поднимаясь невидимым паром над телом ребенка и бесследно растворяясь под крышей, а её Мальчик, согретый материнским теплом, засыпал.

Белая шерсть посерела от грязи, яма под забором увеличивалась с каждым гребком. Мальчик уходил всё дальше от дома. Но, несмотря на расстояние, страх, обуявший

ребёнка, древний, как весь собачий род, долетал до её чувствительных ноздрей и заставлял работать лапами ещё быстрее. Она понимала, чего боится Мальчик: чёрная дыра снова раскрыла свой зев, и на этот раз, Дана чувствовала, дыра не захлопнется голодной. На этот раз дыра съест Мальчика, поэтому Дана, яростно погавкивая, гребла, раскидывая вокруг себя комья земли.

— Берегись, путник, ты въезжаешь в город Саки. — Сказала Лора, проехав большой каменный крест, вкопанный на обочине так, чтобы все проезжающие без труда могли прочитать отчеканенные в металле «Спаси и сохрани». Ещё один крест, точно такой же, стоит на выезде из города.

— Ага, прикольные кресты. Я Саню спросил про них, ты слышала?

— Не слышала я твоего Саню.

— В этом городе сильная православная община, — Роман сделал вид, что не заметил раздражённого тона. — И в Симферополе пытались точно такие же поставить, но там Меджлис возмутился, татары бучу подняли, не дали кресты поставить.

— И правильно сделали. Уродство такое.

— Саня сказал, что...

— А ты слушай его больше, — перебила она. — Мы и на яхте покатались, и шашлыка в море поели, да? Пацан обещал, пацан сделал? Прямо, не вылезали с яхты всю неделю. Тебя, зайчик, от яхты не тошнит? — Сказала она.

— Лор, я думал, мы разобрались с этим.

— Мужик расшибётся, если пообещал. Саша — не мужик.

Роман пожал плечами, решив не спорить. Саша в первый же день пообещал договориться со знакомым капитаном: чистое море, шашлык, купание нагишом. И ведь не Сашина вина. И капитана того понять можно - он за один день настрижёт несколько сотен баксов, а потом зимой на них жить будет. Они ж там, в Черноморском, только на туризме и живут. А тут мы такие блатные киевские приехали, покатайте нас бесплатно. Не жмотились бы — фрахтуй яхту и купайся, обедайся.

— И палатку зря тащили, так я дикого пляжа и не увидела, — нарушила тишину Лора. — Балабол он, короче.

Роман в ответ пожал плечами.

— Что решил с пистолетом?

— При чём здесь пистолет?

— Я не сказала, что он при чём. — Сказала она с нажимом. — Я спрашиваю, что ты с ним сделаешь? Я не хочу его видеть в доме.

Прощаясь, Саша вручил Роману коробку со словами: «Подарок. Копия беретты, откидной затвор, газ в комплекте. Вещь - супер». Раскрыв подарок, Роман извлёк тяжелую вещь, которая удобно легла в руку. «Давай», — улыбнулся Саша. Роман опустил пистолет и нажал на спуск. Раздался громкий хлопок, и металлический шар вошёл в землю. «Спасибо», — Роман крепко обнял друга.

— Пока не знаю. — Роман отвернулся к окну, сожалея, что ничего не оставил другу в подарок.

— Что значит, пока не знаешь? Завтра утром будем в Киеве, а ты ещё не знаешь?

— Я решу эту проблему.

— Проблему? — Удивилась она. — Это ещё не проблема, и будь добр, сделай так, чтобы это проблемой не стало.

— Сделаю.

— Хоть выкинь в окно, — продолжала она. — В моём доме оружия не будет.

— Это не оружие.

— Я всё тебе сказала, — отрезала Лора.

Роман смотрел в окно и молчал.

— Мужик пообещал?

— Пообещал.

Хорошее настроение исчезло. «В моём доме...» Хозяйка грозная.

— Отвезу пистолет в офис. — Сказал Роман.

В полной тишине негромко шумел климат-контроль и шелестели шины. Машина ехала через город Саки в ряду таких же туристов, разъезжающихся по домам.

Своего двора у школы не было. Построенное буквой П, здание имело два крыла, между которыми и находилось пространство, называемое двором. По одну сторону от школы располагался стадион, по другую проходила верхняя дорога, не очень оживлённая, но дорога. Городские власти отделили её от тротуаров ограждениями, но опасной дорогой считалась не эта (по которой к школе только что подъехал синий фольксваген). Куда опаснее была нижняя трасса, разрезающая город на две неравных части. Школа располагалась в меньшей части, на горе. Зачем её построили именно там, никто уже не помнил, да и привыкли все, что детям нужно переходить трассу с оживлённым движением. Для безопасности власти установили на трассе пешеходный светофор, снабдили его кнопкой по требованию, и обвесили обочины предупреждающими знаками. От светофора вверх к стадиону извивалась тополиная аллея, умощённая фигурной плиткой.

Антон нажал кнопку, отсчитывая про себя пятнадцать секунд, через которые загорится зелёный. Снова и снова он проговаривал про себя слова отца, одновременно вспоминая вчерашнюю драку, накручивая себя и пытаясь вернуть вчерашнюю, застилающую глаза, ярость.

— Иди прямиком на Глыбу. Не вынимай рук из карманов. Не поднимай головы. Никому не смотри в глаза. Не останавливайся.

— Подойди к нему на расстояние руки. Ничего не жди. Сразу бей. Удара в горло никто не ждёт. Он станет как рыба хватать воздух.

— В горло и следом в нос, ломай кость. Никто даже не дернется. Если не согнётся, бей ещё в морду. Если получится, целься в бровь, разбей её и морду зальёт кровью. Если согнётся, бей ногами. Бей, пока не ляжет. Бей первым, не жди.

Светофор начал издавать ритмичные сигналы, зажёгся пешеходный зелёный, Антон пересёк проезжую часть и ступил на аллею, где в это время дня высокие тополя почти не давали тени.

Чем выше его вела аллея, тем медленнее становился шаг. Уверенность исчезала, словно испарялась через поры на коже. Злость не приходила, как он ни старался. Подбиралось какое-то оцепенение, словно на него надели смирительную рубашку и неспешно стягивают ремнями, лишая конечности возможности двигаться. Тополиная аллея, исхоженная тысячи раз, даже в первом классе не вызывавшая трудностей, теперь казалось невероятно трудной, словно идёшь босиком по мокрому песку с прикованными гириями, которые волочатся позади, оставляя две кривые траншеи. Он вытащил руку из кармана и не смог сжать кулак - пальцы, бледные и тонкие, тряслись, и сил в них, кажется, не было вообще. Он поспешно сунул руку назад и сжал свинчатку.

Вдруг пришло понимание, что произойдёт в ближайшие пять минут. Он словно заглянул в будущее и увидел там себя с разбитыми губами, с раздутым с одной стороны носом и заплывшим посиневшим левым глазом. Вкус крови заполнил рот, словно она хлынула из разбитых губ уже сейчас. От этой неотвратимости, замаячившей перед ним, стало мутно в голове, мышцы живота подвело, и яички сжались в два похолодевших тугих комка.

Он шёл на бойню. От внезапного осознания этого простого факта его накрыло - липкая паутина страха упала сверху, сковала по рукам и ногам, заставила остановиться, на неверных и вдруг ослабевших ногах подойти к тополи и сесть, почти упасть на него, и сидеть, свесив голову и зажмурившись. Между плотно сжатыми веками стало мокро. Старые ветки скрипели над головой, листья шелестели на ветру, солнце, от которого не укрывали кроны тополей, подбиралось к зениту. Мальчик сидел на аллее и плакал, не находя в себе сил даже на то, чтобы встать и пойти назад, не то, чтобы идти дальше.

Неожиданно лицо отца появилось перед мысленным взором. Отец смотрел спокойно, внимательно, так же, как за утренним разговором. Только тогда Антон не понял, а сейчас ясно вспомнил тот взгляд. Казалось, отец всё-всё про него понимает и вот-вот скажет: «Я знаю, что ты чувствуешь. Это нормально». От этого взгляда, в котором не было ни

осуждения, ни презрения, Антону стало неловко. Коряво, стыдно... но и хорошо... Словно отец обнял, прижал, согрел... Нет, не те слова, не те сравнения... Словно отец тем взглядом вернулся после четырёх лет отсутствия. Антона оглушило приятное ощущение, что отец рядом с ним, что ему важно, что происходит в жизни сына.

Внезапно подкатил к горлу ком, и одновременно с комом в душе появилась злость. На себя, на отца, на всех, кто отнимал его долгие четыре года. Антон понял, слишком отчётливо для одиннадцатилетнего подростка, что расстаться с присутствием отца в его жизни он не больше не хочет. Не может. Не может жить один. Не может выносить пустой и темной комнаты, в которую уже который год не заглядывает перед сном мама. Он сделает сегодня, как сказал отец, и тогда всё изменится. Обязательно. Отец увидит — он достоин. Он сделает, он сможет, лишь бы отец снова говорил с ним, лишь бы он потом являлся перед ним и смотрел так внимательно и так по-взрослому.

Антон до скрипа впился зубами в пластиковый загубник, мышцы на скулах вздулись. Он заставил себя встать. Заставил себя сжать пальцы на кастете, и у него почти получилось. От страха холодел живот. Ощущая под собой вместо ног две недоваренные макаронины обутые в кроссовки, он двинулся на них вверх по аллее. Если разбитые губы и выбитые зубы - цена за вновь обретённого отца, он готов платить. Он утирал глаза, играл желваками, сжимал пальцы на свинчатке и заставлял себя идти вверх. Он шёл на свою бойню.

Когда синий фольксваген свернул на парковку перед школой, электронные часы на приборной панели показывали 12:40. Водитель заглушил автомобиль, предусмотрительно вытащил ключи из замка зажигания и сунул в карман форменных брюк. Не то, что бы он боялся, что машину угонят, надо быть дураком, чтобы позариться на старый фольксваген 2001 года, ещё и принадлежащий заместителю начальника райотдела. Ключи он спрятал привычным движением, быть готовым каждую секунду стало его главной привычкой за эти четыре года.

Что он ожидал, когда давал свинчатку и учил пацана бить первым? А что тут ждать? Он сам что ли не дрался? Вернется сегодня сын с разбитым лицом, проблема? Сколько раз, будучи пацаном, он сам удивлялся опухшему и перекошенному лицу, которое смотрело на него из зеркала. Сильнее стал.

Но всё равно свинчатка его тревожила, хоть он и гнал от себя эти волнения. Сможет ли воспользоваться, или её отберут и разобьют свинчаткой его же лицо?

Он ничего не знал о сыне. Фактически ничего. Ну, кроме того, что сыну одиннадцать, он нормально учится и в свободное время возится с муравьями. И он даже мог бы объяснить, почему так мало занимается сыном, но кто спросит? Если бы Антон и догадался спросить, нет у него для сына таких слов, которые расскажут одиннадцатилетнему мальчику, чем последние годы занимался его отец по ночам, а главное — зачем. «Дело. Вырастешь, поймёшь». Но если вдуматься? Для кого он разгребает всё это дерьмо? И такую уж ли высокую цену он платит за свой успех - каких-то несколько упущенных лет общения с сыном. Ещё нагонит.

На стадион подтягивались дети группами и по-одиночке. «Смотреть, как кого-то гниздят, и радоваться, что не тебя. Все одинаковые», — он провожал детей равнодушным взглядом, — «хотим чужой крови, толчков адреналина и ощущения власти».

Мысленно он снова вернулся к разговору, состоявшемуся полчаса назад. Ему не давало покоя предчувствие, которое он не мог бы оформить в слова. И хотя он Ивана почти убедил, что волноваться не о чем, беспричинная тревога его самого не оставляла — что-то на этот раз не так.

Ростовский уже сидел в кресле, когда он вошёл в свой кабинет. Иван Ростовский работал на должности заместителя начальника сакского управления госавтоинспекции и был крестным отцом Антона. Крестным он был так себе (если считать, что главная задача крестного — духовно развивать ребенка), но как человек и друг был надёжен. Иван сидел, как на иголках, глаза ещё не бегали, но были готовы уже вот-вот. Он что-то сумбурно стал говорить, почти тараторить, чего за ним не наблюдалось. Из этого потока было ясно только то, что «нужно ложиться на дно». Какое дно? Что случилось? Чего мандражирует? На эти вопросы Ростовский постепенно ответил, но оказалось, что история повторяется.

Ну, пересматривают в евпаторийской прокуратуре те заявления, ну и что? Прошлый раз дело утихло, утихнет опять. Новое заявление пришло? Опять не подписано? Ну и? Анонимка юридической силы не имеет.

Но Ростовский в этот раз оказался перепуган сильнее, чем прошлый раз. Он продолжал талдычить про «залечь на дно», так что пришлось ему втолковать то, что он и так должен был знать. Сейчас, сидя в машине на школьном дворе, капитан милиции, отец Антона, вспомнил свои же слова, будто только что услышал их со стороны.

— Ну, ложись на дно, Ваня. Давай. Только как? Расскажи мне, я тоже лягу. Давай, рассказывай.

Иван молчал и жевал губу.

— Какое, нахрен, дно, Ваня? Нету никакого дна. Про нас знают все, кому следует знать, потому и не трогают. Нету для нас другого дна, Ваня, кроме как дна выгребной ямы, в которой мы и так с тобой по пояс стоим. Уже стоим. Увязли, чистыми не выбраться. Бездонная яма говна, а мы её лопатами выгребаем, в машину скидываем и из города вывозим. И будем выгребать. Потому что обязательно кто-то должен делать так, чтобы дерьмо на улицы не выплёскивалось, чтобы дети наши в нём не захлёбывались, чтобы женщины от этой поебени не гибли. Управление и дальше будет закрывать глаза на эти анонимки, подумаешь, пропал ещё один человек, который... что? Опа! А на человечка-то, оказывается, есть дело в отделе по борьбе с наркоторговлей, опа — а ещё он на учёте в наркодиспансере, и печаточка в углу на второй страничке — героин. Кому он на хрен нужен, искать его? А может, сел в товарняк и уехал? Наркоман же, мозги набекрень? Или ширнулся на шару и из моря не vyplыл. Не тронет нас никто, Ваня.

И хотя Иван ушёл от него почти успокоившись, тревога его самого не отпустила. Минутная стрелка на наручных часах перебралась через верхнюю точку и начала новый час. Отец взгляделся в то, что происходит на стадионе. «Один на один — деритесь, толпой

— по-вырываю к хренам ноги». В эту самую минуту Антон перешёл дорогу и ступил на тополиную аллею.

Когда Антон поднялся на самый верх аллеи, в первую секунду он опешил. На стадионе толклись люди, много, совершенно точно тут собралось несколько классов. Даже девчонки пришли. «Посмотреть, как меня мочат?», — удивился Антон.

Он растерянно смотрел на них, не находя Глыбу в шевелящейся толпе. Дети стояли и ходили, группками и поодиночке, кто-то играл в мяч возле одних ворот, другие облепили врытые в землю шины, потягивали пиво, курили и сплёвывали.

Вдруг толпа встрепенулась. Все, как по команде, повернулись в его сторону. Мяч, пущенный за секунду до этого, пролетел мимо вратаря и, не пойманный, улетел в кусты. И вдруг из самой многочисленной группки выскочил Малой и побежал навстречу. Антон опустил низко голову и пошёл навстречу. Он чеканил шаги, выбивая подошвами пылевые облака. «Где Малой, там и Глыба». Сердце трепыхалось, несмотря на это лицо вдруг стало холодным, будто обмороженным, в руках снова поселилась слабость - не сжать пальцы в кулак.

Малой подбежал к нему.

— Что, сука? Сейчас тебя вьёбут...

Антон, не сбавляя шаг, прошёл мимо внезапно остановившегося Малого. И вдруг услышал за спиной его крик:

— Он собаку привёл! Глыба, он собаку привёл!

Антон остановился, словно налетел на стену. Развернувшись, с этого места ещё можно было видеть дорогу и пешеходную зебру. Дана! Дальше всё произошло как во сне, как в кошмаре, когда время то растягивается, то ускоряется, вмещая в одну минуту целую ночь. И целую жизнь.

Антон услышал за спиной топот, успел обернуться и увидеть, как старшие пацаны, из толпы которых только что выбежал Малой, сорвались с места и ринулись к нему. Среди них прямо на него бежал Глыба. Успел разглядеть его ухмылку и ощутить, как сердце ухнуло в груди. Успел сжать зубами капу, вскинуть руки к лицу, ощущая, как ноги в момент снова стали макаронинами. Услышал, как Глыба заорал: «Режьте! Чуваки, режьте пса!». Двое пацанов отделились и рванули в сторону аллеи. «Нет. Нет!» - Антон повернулся за ними вслед, но тут на него налетели, сбили с ног, он рухнул в пыль. Кожа на локтях и ладонях натянулась и лопнула. На него навалились, прижали к земле, дернули за волосы вверх и голос Глыбы ворвался в его голову: «Смотри, сука, какие у неё кишки! Смотри, сука!»

От рывка и резкой боли глаза вылезли из орбит, обнажив ту часть белков, которая всегда спрятана за веками. В горле застрял крик «Нет, не...», а пальцы до крови вгрызлись ногтями в грунт... и Антон увидел.

Как в замедленной съёмке время теперь растянулось. Антон думал, так бывает только в кино, но время действительно стало тягучим и липким. Пылинки, подсвеченные солнцем, медленно летят перед глазами в хаотичном порядке. Крики Глыбы растянулись в длинное нескончаемое «уукааааааа», а его собственные ногти скрипят по каменистой земле, издавая медленное «шх-шх-шх». Должно быть больно, но он пока не чувствует боли, глядя сквозь замершие в воздухе пылинки на Дану и на тех, кто бросился её убивать, занятый мыслью «как она выбежала из двора?»

В ту длинную секунду, что Антон лежал, придавленный к земле весом Глыбы, ему показалось, он увидел ножи в руках пацанов, бегущих к Дане, а Дана уже пересекала дорогу и ей оставалось всего ничего. И сил не было сбросить с себя эту тушу и закричать. Только и оставалось скрести ногтями землю и хрипеть что-то перекошенным ртом, забитым сыпучей пылью.

Всё случилось быстро. Глыба выпустил волосы и слез с него. Антон замер, не сразу осознав, что он увидел. А спустя секунду до него донёлся собачий визг, истошные вопли, перемежающиеся скулежом и подгавкиваниями смертельно раненой собаки...

С холма по направлению к трассе бежали двое подростков. Что-то неправильное, даже грозное, показалось Роману в их беге — дети бежали так, словно хотели кого-то догнать и при этом остаться невидимыми — в магазин за мороженым так не бегают. Неприятные воспоминания, спрятанные глубоко в памяти, зашевелились, готовые выползти на свет из подсознания, и в животе, как давно в детстве, появилось ощущение вязкой тревоги. Так страшно бывает, когда из большой и темной будки вдруг доносится глухое рычание.

— Какая-то заварушка наверху. Вон, на холме, над тополями.

Лора не ответила. Движение замедлялось, машины перед ней притормаживали и останавливались.

— И чего тормозим? — сказала Лора, адресуя к машине впереди, которая включила тормозные огни.

Лора тоже сбросила скорость, немного вильнула на разделительную сплошную — встречная, куда хватало взгляда, была совершенна пуста.

Замедляясь, они подкатывали к хвосту стоящих в их ряду машин. Роман смотрел туда, где подростки уже скрылись за тополями, а наверху происходило что-то нехорошее — то ли затеялась драка, то ли... Роман не успел осмыслить. Лора крутанула руль влево, машина, взревела двигателем и выскочила на встречную полосу, оставив над асфальтом дымовое облако. В окнах замелькали машины, стоящие в первой полосе.

— Ну, нафиг, Лора, зачем?

Лора не отвечала, крепко держась за руль.

— Блин. Лорка. — В голосе Романа прозвучало какая-то обреченность. Или отчаяние. Он не был сторонником такой езды. Сплошную рисуют не просто так, особенно в городе.

Он взглянул на Лору - та приклеилась взглядом к точке впереди, где дорога изгибалась, и в принципе понимал почему — оттуда мог возникнуть встречный поток. В поле зрения появился светофор и красно-белые пешеходные полосы, нанесённые на асфальт. Светофор над ними горел жёлтым, как вдруг сменился красным. Роман вгляделся, за светофором обе полосы были пусты, он кинул взгляд на Лору и холод пробежал по спине — Лора не собиралась останавливаться.

— Тормози... тормози... тормози! — Но двигатель наоборот заревел на большей мощности. Лора жмёт на газ!

Роман перевёл взгляд вперед и понял почему - на изгибе дороги появилась встречная и тут же врубила дальний свет, моргая им, предупреждая... о чём? Он же затормозит, как и все, у него красный. Романа вжало в кресло - Лора ещё больше вдавила педаль газа в пол, машина оглушительно заревела на пониженной передаче и понеслась с такой скоростью, что машины в первой полосе замелькали в окне быстро-быстро, а пешеходная зебра взлетела в воздух и понеслась навстречу.

Роман сжал подлокотник, ногами упёрся в пол и застыл, не отрывая взгляда от встречной машины, которая моргала дальним и сигналила с таким неистовством, что было слышно даже сквозь поднятые стёкла. L200 ревел, как гоночная машина, слева и справа картинки размазывались по стеклу детскими акварельками, а встречная машина, похоже, тормозила и пыталась уйти на обочину, взвивая за собой облако пыли.

Они вылетели к светофору — бах! — пронеслись через пешеходный переход, ощутив удар обо что-то, а потом подпрыгнули на «этом» задними колёсами. Лора чересчур сильно крутанула руль вправо, уходя на свою полосу, прорезала корпусом машины пылевую завесу, выползшую с обочины, и стала тормозить, выписывая покрывками черные рисунки на асфальте. Машину заносило, швыряло то в одну, то в другую сторону.

— Отпусти! — Роман орал. — Тормоз отпусти!

Лора перестала давить на педаль, и машина вдруг вышла из заноса, автоматически включив систему курсовой устойчивости. Лора мягче надавила на тормоз, и машина, наконец, остановилась, распространяя вокруг себя в воздухе вонь горелой резины.

Сбили! Романа трясло. Тошнота подкатывала к горлу и отступала назад, будто бы волны пытаютсялизнуть песочный замок на берегу. Рот заполнился слюной, Роман поспешно отстегнул ремень безопасности, опустил стекло и высунулся наружу. Но рвота не пришла, только рот заполнился вязкой горькой слюной, которую он сплюнул. Утёр рот рукавом и ещё несколько раз сплюнул. Посидел с закрытыми глазами. Он всё ещё слышал отчетливый удар и помнил, как машина на чём-то подскочила. А потом нехотя, внутренне боясь увидеть то, что там осталось, развернулся в кресле и взглянул в заднее стекло.

Пыль опускалась жёлтым облаком на асфальт. Светофор только загорелся зеленым, но машины не двигались. В открытых дверях стояли люди, многие держались за головы, словно видели то, что видеть не стоило. Тот автомобиль, что им сигнализировал (теперь понятно, что он делал), моргал аварийкой на обочине, а на полосе, по которой они гнали... боже...

На полосе в луже крови кто-то корчился, от него назад к пешеходному переходу тянулось красное пятно... К горлу подкатил новый ком, когда Роман представил, как они тащили за собой по асфальту раздавленное тело. Силясь совладать с позывами, Роман зажмурился и тут, сквозь вату в голове и пульсирующие толчки крови, до него донёсся собачий визг. Собачьи вопли. Он вгляделся в существо на дороге и сквозь оседающую пыль смог разглядеть как большая лохматая собака крутится на месте, приклеенная своими же внутренностями и размозжёнными задними лапами к асфальту. Она скулила и била себя по морде передними лапами, словно у существа сильно чесался нос, а когда-то белая шерсть стала красно-коричневой.

Роман медленно перевёл взгляд на Лору, ком из горла не уходил. Лора сидела крепко зажмурившись, вцепившись в руль побелевшими пальцами, а два нарощенных ногтя обломались и висели на пальцах, как сорванные с петель ставни.

— Кого я сбила? — просипела она, разлепив губы.

Роман не отвечал, он пытался сообразить, что надо делать в такой ситуации, но мысли все расползались по голове, как нагретое желе.

— Кого я сбила? — повторила она, не разжимая век.

В голову не приходило ничего, кроме единственного слова, которым вполне можно было назвать сейчас Лору.

— Кого я сбила?! — заорала Лора.

— Собаку! — Выпалил Роман, и сам удивился своему крику. — Ты сбила собаку!

— Слава богу. — Она вдруг выдохнула, словно после долгого бега, и опустила голову. — Слава богу.

Лора глубоко дышала, как перед нырком в воду, а потом решительно выпрямилась в кресле, резко вжала педаль газа и стартовала с места.

— Что ты делаешь? Ты куда?

Лора не отвечала. Она набирала скорость, глядя мёртвым взглядом в одну точку перед собой.

— Лора! — Роман крикнул на неё. — Стой!

Он не успел договорить, как Лора резко нажала на тормоз, Романа бросило вперед на торпеду, он врезался плечом и приложился головой в боковое стекло. Собака с заднего сиденья слетела и врезалась в спинку пассажирского кресла, взвизгнув и свалившись на

пол. Машина шла юзом, и ABS во всю колотилась под ногами, издавая яростный стук по тормозным дискам.

— Закрой свой рот! — заорала Лора, когда машина остановилась. Её крик перешёл на визг, от которого зачесались барабанные перепонки. — Закрой свой рот!

Роман уставился на жену. Её губы перекосило, а глаза на бледном лице сверкали ненавистью. От гнева, который плескался в её глазах, и от истеричного вопля стало страшно. Тот животный иррациональный страх, от которого, он думал, давно избавился, снова вернулся, ворвался в его спокойную налаженную жизнь. Перед глазами мелькнули тёмно-зелёные кафельные плитки, отчего кишки скрутило в узел.

— Собака не стоит моей жизни! Ни одна собака не стоит моей жизни. Что тебе непонятно?

Он смотрел на её перекошенное лицо, на капли слюны в углах рта, и понимал, что не знает её такой. Мало того, такая ему она не нравится. Её всегда милое и даже немного кукольное лицо было искажено гримасой ненависти, но не только — он вдруг совершенно отчетливо понял, что она боится, боится даже больше, чем он. Воздух в машине словно весь пропитался страхом и ещё чем-то.

Он опустил глаза вниз и вообще не удивился, увидев темное пятно между её ног. В её глазах появились слёзы. Её чувства и настроения всегда так быстро меняются, ещё вчера это ему нравилось (женщина-загадка, пусть и не всегда уравновешенная), но сейчас червь сомнения куснул ту часть его мозга, в которой все эти годы прятались воспоминания о чёрно-зеленой кафельной плитке. И живот всё ещё сводило, а в носу появился мерзкий запах хлорки - запах его детства.

— Прости меня. — Вдруг сказала она, как нашкодивший ребенок, разбивший учительскую вазу. Словно и не кричала на него только что.

Её лицо превратилось в лицо ребенка, и на него с новой силой повеяло интернатовским детством. Тогда казалось, этих слов должно быть достаточно — скажи вовремя «простите, я больше не буду», и воспитатели не станут орать... а старшие пацаны издеваться. Но воспитатели всё равно орали, а пацаны издевались. И только сейчас ему открылось, что эти слова ничего не стоят. Вообще. Потому что там, в луже крови, корчится и скулит раздавленная собака, а от слов «прости меня» кишки назад в живот не соберутся.

Он смотрел на перекошенное страхом лицо жены, а увидел вдруг себя — мальчика, прячущегося в туалетной кабинке от старших пацанов, ещё сильнее ощутил запах хлорки, словно макнул лицо в ведро с раствором, а в горле вдруг появился комок, такой же, как почти пятнадцать лет назад. И этим комком была не слюна и не кусок пирога, застрявшего в горле. То был комок из страха.

Неожиданно для себя Роман вспомнил то, чего вспоминать вовсе не хотел - что-то, что казалось прочно спрятанным в памяти за замками и засовами, но в эту секунду истончившаяся ткань разошлась по старому шву, и оттуда полезли воспоминания, от которых Романа замутило. Глядя на жену, он поймал себя на мысли, что старается

затолкать эти воспоминания в себя поглубже, туда, где они пылились все эти годы и пусть бы пылились ещё лет этак сто, пока его тело не состарится, а мозг не умрёт, так и не вспомнив ужас. А в том, что это будет именно ужас, он не сомневался, поэтому сопротивлялся всеми силами. Но кое-что в сознание всё-таки просочилось...

Воспоминания были яркими, как восход солнца на побережье, и такими же внезапными — бац — глаза залило слепящим светом и Рома очутился в шкуре ребенка, десятилетнего себя, прячущегося в туалетной камерке со швабрами.

В тот день ему исполнилось десять!

От осознания этого простого факта взрослый человек в чёрном джипе ощутил, как волна тошноты подкатила к горлу. Но мальчик, каким он был много лет назад, ничего этого знать не мог, потому что день был хороший, день был замечательный, потому что пятница, на завтра уроки можно не учить, да ещё и праздник в разгаре. Праздник в его честь!

Дни рождения обычно проходили в столовой. После праздничного ужина (приметой праздника был именинный пирог с абрикосовым вареньем, который пекла повариха тётя Маша, молодая женщина с родимым пятном на всю щёку, придурки звали её за спиной «вождь краснокожих») столы и стулья отодвигали к стенам, и посреди комнаты начиналось веселье. Дети по-старше избегали таких празднеств, они быстро ели, забирали свою часть пирога и шли кто в спальни, кто в игровые комнаты. Но младшие (а Рома пока не исключал себя из их числа) с удовольствием предавались играм, даже несмотря на то, что из года в год и из праздника в праздник игры оставались одними и теми же, маленькие дети любят стабильность, а дети выросшие без родителей в чём-то навсегда остаются маленькими, пусть даже и не признаются в этом никому.

Рома любил подвижные игры вроде «стул есть, но никак не сесть» или «пропавшая табуретка», или «не зги не видно»... да что там, он любил их все. Игры наполняли его душу лучистым весельем, затапливало светом, которого он был лишён со смерти родителей. Если и были игры, которые ему не давались, вроде «повторилы», когда нужно по очереди называть, к примеру, животных, а каждый следующий игрок должен повторить те слова, что уже сказаны и добавить своё, Рома не унывал — подумаешь проиграл, зато весело и дружно (...наверное именно так, — считал он, — живут дети, у кого мама и папа вечером приходят с работы — играют с родителями каждый вечер или, по крайней мере, каждые выходные).

Рома был счастлив в такие моменты, и как же не хотелось пропускать ни одной минуты такого праздника. Но мочевого пузыря, раздувшийся от яблочного сока, в тот вечер сначала умолял, а потом стал нагло скандировать: «В туалет! В туалет!»

И Рома наконец услышал его зов. Он с сожалением покинул круг детей, выстроившихся для игры в «веревочку» и медленно двинулся по коридору второго этажа, внезапно спохватившись, что идти быстро он уже не в состоянии — только попробуй, и мочевого пузыря спустит тебе в брюки весь яблочный сок. Но и это не расстраивало мальчика.

Он шёл по коридору, расставив руки широко в стороны, воображая себя дрейфующим по Северному Морю кораблём, пальцы одной руки касались крашеной до половины стены коридора, время от времени ощущая, как застывшие в краске пылинки царапают подушечки его пальцев. Это не пылинки, это мороз арктического полюса щипал обшивку его корабля.

Он доплыл до лестницы, ведущей вниз на первый этаж (а в воображении Ромы ступени вели в темноту бескрайней арктической ночи), и устался на ступеньки, те самые, на которых могли бы расстрелять графа (но, блин, не расстреляли) и вдруг обратился в большого пузатого дядьку с седым париком (именно таким он видел здешнего графа в своём воображении). Он поставил ногу на ступеньку и пошёл вниз, навстречу революционерам, нацелившимся на него винтовками от главного входа.

Граф чинно спускался, держась за холодные каменные перила, которые если и были мрамором, то только в воображении мальчишки в пышном халате (в халате насыщенного бордового цвета с черным блестящим воротником, конечно же!) — он торжественно переставлял ноги со ступеньки на ступеньку, рука в шёлковой перчатке с тихим шорохом скользила по мраморным перилам (перилы-перила-перило, единственное число, родительно-дательный-зафигательный падеж), а выпитый сок тем временем плескался в большом графском пузе, почти как волны Северного Моря, что накатывают на большие бездушные айсберги.

Он спустился на первый этаж, тихий и безлюдный в это время суток, и медленно направился к туалетам в конце коридора. Почему он решил пойти на первый этаж, если туалеты были на втором, и идти туда ближе? Да кто ж знает. Сейчас, в салоне большого джипа, ошарашенный чёткостью воспоминаний, Роман ясно вспомнил и корабль, на котором плыл по коридору второго этажа, и пышный графский халат, в котором спускался навстречу революционерам, но это не показалось ему убедительными причинами для не самого удачного выбора в тот вечер - идти в нижний туалет. Определённо, то было не самое удачное решение в его жизни.

Спустившись с лестницы и повернув в пустынный коридор, в дальнем конце которого находились туалеты, Рома вернулся в реальность и подумал, что коридор тёмный и лучше бы туда не идти. Но если даже до ближайшего туалета расстояние кажется огромным, то ещё одно путешествие по расстрельной лестнице, а потом по Северному Морю второго этажа ни один мочевой пузырь не выдержит - будь то его, или графский. А пузырь и правда разошёлся. Он уже не просто требовал, он вовсе бесновался, словно подпрыгивал к горлу от каждого шага. Рома как мог ускорился, понимая, что если обоссется, будет беда. Бе-еда.

Он медленно дошёл до мальчукового туалета, сжимая внизу всё, что получалось сжать (только бы не обоссаться!), открыл дверь и предельно осторожно, как сапер, приближающийся к бомбе, пересёк первую комнату, убранство которой составляли только умывальник и старое зеркало над ним. Рома мельком глянул на своё отражение в зеркале и не увидел там графа в бардовом пышном халате, тот остался его ждать на мраморной лестнице, а может он уже был взят в плен революционерами или даже сослан

в Сибирь. Зеркало показало ему мальчика, обычного мальчика, разве что который очень хотел писать.

Зеркалу было много лет, фольга по ободку пошла волнами, а кое-где надорвалась и скрючилась, словно ей полакомился амальгамный червь. Когда-то трудовик рассказал как делают зеркала, и слово амальгама врезалось в память, потому что очень уже оно было необычным, праздничным, словно из другого мира — примерно из того же, где на улицах свободно звучит слово Марльборо и любой мальчишка мог носить джинсы, даже если он бедняк и у него чёрная кожа.

Но в этот раз он не успел покатасть на языке любимое слово, лишь мельком глянул на своё отражение, и ощутил, как беда приближается к школьным брюкам. Ой! Ой! Вошёл в следующее помещение с тремя унитазами и единственным окном, забранном решёткой со стороны улицы, подошёл к ближайшему унитазу так близко, чтобы точно не промахнуться и не залить школьные брюки (чур-чур меня, вернуться в столовую, чтобы к тебе принохивались и косились?), растегнул непослушные пуговицы и облегчённо вздохнул. Ура... Живот пустел, приятно пустел, и чёрт побери, как же это приятно... Этот момент не мог испортить даже ядрёный запах хлорки, которую уборщица щедро рассыпала творогом по периметру комнаты.

Он пописал, дёрнул цепочку, мощный поток воды ринулся в унитаз, а другая порция с урчанием голодного зверя тут же стала изливаться в чугунную чашу бачка, закреплённого под потолком. Улыбаясь, Рома вышел в комнату с амальгамой, глянул на себя в зеркало и вдруг застыл, наблюдая, как довольное выражение исчезает с лица, уступая место если не ужасу, то панике — точно. За дверью раздавались голоса. Приближались голоса. К туалету приближались голоса!

То, что они направлялись именно к туалету, сомнений быть не могло — в этом конце коридора больше некуда было идти, разве что в девчуковой туалет, но голоса-то принадлежали не девчонкам. Далеко не девчонкам, подумал Рома, и ощутил, что мог бы уписаться прямо сейчас, если бы не отлил полминуты назад. Ноги задрожали. Накатила слабость и повязала ватой конечности, он отступил на непослушных ногах в комнату с унитазами. Бачок всё ещё рычал под потолком, и этот звук нагнал на Романа ещё больше страха, чем сами голоса, которые он уже отчётливо слышал:

— После Галыбы я, понял?

— С хера ли? Я старше.

— Он сказал, после него я.

— Не бурей, Леший.

— Ты сам не бурей, что непонятно? Галыба мне сказал!

Голоса принадлежали Стояку и Лешему, двум старшеклассникам (придуркам!), которые отирались возле Галыбы, как рыбы-прилипалы вокруг акульей пасти, но в отличие от безобидных рыб, которые лишь подбирали за хищником крохи еды, Стояк и Леший были настоящими уродами, которые могли и сами укусить кого найдут. Это

им доставляло радость, а управы на них найти не могли. Или не хотели. Они же были из тех, «трудных элементов», на которых местная воспитательно-методическая работа должна была оказать положительное воздействие. Отнять у младшего кусок пирога — это они могли. Зимней ночью сорвать одеяла со спящих просто ради прикола, чтобы только поглазеть, как те мёрзнут в остывающей за ночь спальне и сквозь сон сжимаются в позу креветки — это тоже они. Много позже, когда Роман дочитает «Гарри Поттера и потайную комнату» до места, где в сюжете появляются Креб и Гойл, спутники Малфоя, он оторвётся от книги и, подумав о Джоанне Роулинг: «Она знает!», проникнется к её романам полным доверием.

Страшно было подумать, что Стояк и Леший могут сделать, если обнаружат Рому одного в туалете на первом этаже, где в это время почти никто не бывает. О чём он думал, когда шёл именно сюда — эта мысль затрепыхала у него в мозгу, но думать её было некогда. Он заметался взглядом, понимая, что даже если закроется в одной из кабинок, шансов, что Стояк и Леший его не заметят, никаких. Но он влетел в кабинку, захлопнул за собой дверь и уже хотел закрыться на щеколду, как понял, что всё пропало — бачок под потолком продолжал хрипеть и плеваться брызгами, накачивая в себя воду. Леший и Стояк хоть и придурки, но не настолько же, чтобы не задуматься - если из туалета никто не вышел, значит, тот, кто дернул цепочку на бачке, ещё здесь.

И вдруг взгляд упал на стенку кабинки, туда, куда обычно не смотришь, когда стараешься не промахнуться мимо унитаза. Кирпичные простенки, выкрашенные известью, не доходили до потолка, мало того, они едва превышали рост десятилетнего ребенка. А за простенком в том месте, где ничего не должно было быть (это же первая кабинка, подумал Рома), он увидел конец какой-то палки, которая напоминала древко флага, как если бы флаг перевернули вниз полотном... Швабра, осенило его! Роман вдруг понял, что всегда смотрел, но никогда не видел ещё одной дверцы, расположенной рядом с первой кабинкой — узкую дверцу, за которой не мог разместиться унитаз, но на которой всегда висел замок, и висел он там так давно, что Рома (и будем надеяться, что и все остальные) забыл про существование этого закутка.

Рома запрыгнул на унитаз, ухватился за верхний край стены и, оттолкнувшись ногой от унитаза, подпрыгнул, взобрался на простенок. На коричневых школьных брюках остались белые пятна, словно кто-то вытер выпачканные мелом ладони об штаны. Точно! Прямо под ним оказались швабры, ведра и батарея, завешанная ветхими тряпками. Голоса Лешего и Стояка стали резко громче, словно те вошли в комнату с амальгамой, Рома перебросил ноги, ощущая, как волосы шевелятся на затылке, ощущая на своей шкуре, что чувствует человек, за которым гонятся два буль-терьера. Если не поторопишься, — пришла леденящая пятки мысль, — окажешься как таракан на кухонном столе, когда ночью включают свет. Он сиганул вниз, приземлившись на нижнюю перекладину швабры, отчего та резко шибанула его в спину, и Рому кинуло на жестяные ведра составленные одно в другое. Бачок вдруг умолк и это случилось ровно за секунду до того, как дверь в туалет распахнулась с ноги (она ударились о стенку и отскочила назад) и в комнату с унитазами вошёл один из тех. Кто вошёл, Рома не знал, да и знать не хотел, ощущая, как по спине разливается боль от удара шваброй и как сердце колотится возле подбородка.

Леший или Стояк (кто?) сделал несколько шагов, двинул ногой по прикрытой двери кабинки, где десять секунд назад стоял Рома, дверца отлетела и со звуком упавшего на кафельную плитку варёного яйца ударилась о кирпичную побеленную стенку. Рома от неожиданности вздрогнул, но не сдвинулся с места. Хорошо, он не задвинул ту щеколду. Леший (или Стояк?) вышел и, наверное, закрыл за собой, потому что петли на двери, разделяющей унитазную и амальгамную комнаты скрипнули, а полотно двери резко ударилось о дверную раму.

Слава богу проверить каморку со швабрами они не догадались. Видимо, как и все, они не воспринимали каморку за помещение - она просто перестала существовать для всех в тот же день, когда на ней повесили замок.

Рома выдохнул. Во рту пересохло, язык стал шершавый и мешал сглотнуть, хотя, если по правде, глотать было нечего. Он опустил глаза и понял, что ему чертовски повезло. Он стоял возле жестяных вёдер, составленных одно в другое в нелепую колонну и держал их, словно хрустальную вазу. Спрыгни он иначе и не ухвати эту конструкцию в последний момент, грохота вышло бы ого-го. Но сегодня день рождения, в такой день должно везти? Хоть когда-нибудь, правильно? Рома осторожно отпустил вёдра (те чуть накренились, но почти сразу замерли, только одно из них в середине скрипнуло жестяным кольцом), опустил на краешек батареи, закрыл глаза и, ощущая, как сердце успокаивает свой бег, вслушивался в перебранку двух дебилов, которым непонятно что понадобилось в предбаннике туалета.

Роман сильно зажмурился и ударил себя ладонью по щеке. Лора удивлённо моргнула. Звук вышел хлёсткий, такой, как и должен быть при щедрой пощёчине. Он не хотел больше вспоминать. Не хотел, не хотел, не хотел!

Я! НЕ! ХОЧУ! — Мысленно заорал он и снова ударил себя, ощущая, как кровь прилила к щеке, где наверняка уже краснеет пятерня.

Удивительно, но помогло. Он распахнул глаза и понял, что воспоминания отступили, как тени отступают по углам, когда встаёт солнце. Он всё ещё слышал рычание туалетного бачка над головой, слышал удары сердца десятилетнего мальчишки, но что случилось после того, как он укрылся от Лешего и Стояка (Господи, даже имена эти воняют хлоркой), Роман знать не хотел.

Неожиданно слёзы навернулись на глаза. И когда Лора потянулась к нему тонкими руками, он поспешно отщёлкнул ремень безопасности, откинул его и притянул жену к себе. И было неясно, кто в ком ищет защиты - то ли она в нём от страха за сбитую жизнь, то ли он хочет скорее забыть нахлынувшее на него прошлое.

Спустя минуту чёрный L200 стартовал с места, и набирая скорость, исчез из виду на ближайшем изгибе дороги. Если бы в ту минуту кто-то сфотографировал машину, с фотографии смотрели бы бледные напряжённые лица с выражением крайней растерянности и страха. Да, страха. Но страх принадлежал им не один на двоих - каждый видел свой ужас и каждый бежал от своего собственного кошмара.

Только ты и я

Дана пыталась увидеть, что происходит с её животом, но сил не было даже оторвать голову от асфальта.

Живот горел. Жарко полыхал, словно под ним развели костёр. Задние лапы сами по себе дергались, каждая жила своей жизнью, не подчиняясь больше воле хозяйки, словно отделённые от тела неведомой силой. Так дождевой червь извивается на влажной земле, нарезанный детским любопытством на несколько отдельных живых кусков. Каждое движение приносило вспышку боли, а вместе они складывались в ослепительный фейерверк агонии, точно кто-то бросал ей прямо в морду горящие угли.

Она жмурилась в попытках спрятаться от слепящей боли, закрывала морду передними лапами, но даже за закрытыми глазами видела боль, сжигающую её изнутри. Привыкшая к простым правилам жизни, одно из которых гласило, если тебе больно, значит кто-то или что-то доставляет тебе боль, Дана, которая не могла оторвать морду от земли (и это само по себе было странно), было проще считать, что кто-то перекусил её лапы и теперь рвёт их зубами и когтями, дергает из стороны в сторону, пытаясь оторвать их напроць, как сама Дана когда-то по неопытности рвала подстреленного зайца.

Сил ответить обидчику не было, впрочем какой-то частью сознания собака понимала, что никакого обидчика нет. Чернота! Это Зубастая Чернота обернулась Кулаком, налетела, подмяла, передала, размозжила лапы и теперь, голодная, рвёт гигантскими острыми зубами её тело, заставляя выть и рычать, бешено вращая глазами, скалиться и лаять.

На время Дана ощутила себя зайцем, ещё теплым, ещё живым, одним из тех десятков подстреленных Хозяином, которых она настигала в полях и несла Хозяину, напоённая радостью от чужой горячей крови на языке, клала добычу к ногам и жадно наблюдала, как заяц сучит лапами, вытаращивает глаза и мучительно готовится умереть. В то мгновение, на асфальте, когда Дана ощутила себя подстреленным зайцем, она поняла, что жизнь угасает теперь и в ней, Чернота настигла её, свою добычу, схватила и отнесла своему Хозяину, и Тот, должно быть, сейчас взирает на Дану сверху, а Чернота, как верный гордый пёс сидит рядом и жадно ждёт смерти. Её смерти! Впервые Дана стало Страшно. Страшно тем настоящим Страхом, от которого воля к жизни покидает её тело.

Ей случалось раньше испытывать страх. Были дни, когда странные, словно чужие, мысли приходили ей в голову. Бывало даже, она переставала себя понимать, и пугалась от того, что хочет послушаться Хозяина. Такое происходило обычно в Ту Луну, когда звуки становятся громче, запахи острее, а мир чётче, когда кобели сбегаются к её двору, и их присутствие и радует и злит одновременно, когда хочется выть в небо, а бывают мгновения, когда трудно себя сдерживать, чтобы не сомкнуть на ком-нибудь зубы, да так, чтобы горячая кровь хлынула на язык.

Только однажды она позволила себе это сделать. Она была молодой, и Эта Луна пришла к ней впервые. Тогда она клацнула зубами в сантиметре от пальцев Хозяина, которые посмели прикоснуться к Её Миске, и ощерилась, ощутив разлившуюся вокруг

Хозяина растерянность и осознавая, что сейчас возьмёт верх над Человеком. Но растерянность Человека длилась не дольше, чем Дане потребовалось сглотнуть голодную слюну, а в следующий миг Кулак Хозяина врезал ей в нос. Нос взорвался горячей болью, а Хозяин остервенелю схватил её за шею и стал душить, глядя прямо в глаза и скалясь маленькими человеческими зубами.

В тот день Дана налила под собой лужу, оттого что Хозяин сжимал её за горло и рычал, подавляя в ней всякое желание доминировать на Самцом. Она запомнила Кулак. Запомнила Ярость. Запомнила Страх. Больше никогда она не разрешала себе ничего подобного, подавляя в Те Дни всякое желание ухватить, разорвать, бессмысленно выть и куда-то бежать.

Убежать от Черноты она не смогла. Эта мысль, необычно ясная, пришла ей в голову, и она заскулила пронзительной нотой, испытывая ужас перед этой чернотой, которая накрыла Её Семью четыре Лета назад. Чернота забрала Женщину. Чернота хотела забрать Мальчика, но не стала и взамен поселилась в Хозяине, но не перестала охотиться на Её Семью. Сегодня она снова вышла на охоту, но вместо Мальчика добычей стала Дана. Пусть эта Гади́на уже насытится, пусть съест, отгрызнёт и успокоится хотя бы на несколько лет, до тех пор, когда Мальчик станет Мужчиной и сможет управлять Чернотой, как это делает Хозяин. Пусть.

В какой-то момент Дана поняла, что не видит. Ничего не видит. И не различает запахов. Её кто-то поднял, оторвал от земли и понёс... «Хозяин», поняла она по вибрациям нерешительности, таким знакомым с Той Луны. Снова захотелось схватить зубами, оторвать от живой плоти шмат, но сил не было, она могла только выть и скулить.

Сквозь желание рвать плоть, сквозь мутные нераспознаваемые зрительные образы, она почувствовала, что хозяин несёт её к Мальчику. Мальчик недвижимый, как придорожный камень, сидит где-то рядом. Его тело сидит, а душа не здесь, она рвётся, борется, выпарапывается наверх, к свету, к солнцу, ослепительному солнцу, раскалившему асфальт.

Хозяин опустил её на землю, нагретую и раскалённую, в тот же миг бок опалило не то болью, не то горячим асфальтом. Её Мальчик страдает! Пребывает между двух миров - между миром живых нормальных людей и миром потерянных душ, где зыбкие материи забирают тебя в плен, оставляя тело. Мальчику плохо, Дана ощутила это так же ясно, как чувствовала над собой сгущающуюся Черноту, вырастающую из Хозяина, словно черный столб. Дана взвыла, жутко и пронзительно, а собаки в окрестных дворах поприседали на задние лапы, а кто и попятился задом, отползая от одной им ощущаемой угрозы.

Спустя пятнадцать минут после того, как L200 умчался с проклятого перекрёстка, Антон сидел на голой земле и обнимал коленки, как замёрзший человек или как человек, потерявший себя в пространстве. Он смотрел прямо перед собой, его взгляд ничего не выражал, слёзы текли безостановочно, но мальчик их словно не замечал. Он не утирался, и вроде бы ничего не слышал и не видел из того, что происходило вокруг, находясь в пяти шагах от своей собаки, влаивающей и завывающей от боли. Отец перенёс собаку

на обочину и сейчас возвышался над ней, опустив руки вдоль тела. Вокруг плавала вонь собачьих внутренностей, которые горячими сгустками ещё стекали по животу и ногам с того момента, как он взял Дану на руки.

Дана вырывалась, пыталась кусаться и сама себя одёргивала, словно в ней боролись два существа, одно из которых вгрызалось острыми как бритва зубами в плоть другой. Отец опустил Дану на землю и стоял над ней, от напряжения на руках вздулись (и ещё не опали) вены, с пальцев тяжело срывались темно-красные (почти чёрные) капли собачьей крови. Его форменные брюки и рубашка были напрочь измазаны, словно ребенок неумело растёр по одежде красную и коричневую краски. Он стоял над собакой, думал, а Дана выла, била по земле окровавленным (уже совсем не белым) хвостом, из внутренностей текла кровь вперемешку с темными сгустками и светлой жидкостью.

Отец думал. Глаза чесались, горели. Дана рычала, залитыми кровью зубами щёлкала воздух, каждое движение приносило ей невыносимые страдания, задние лапы дергались, словно от них к челюстям протянулись тугие нити. Отец медленно поднял руку и положил на кобуру. Отстегнул кнопку и так же медленно, шурша металлическим боком по кожаной выворотке, вытащил пистолет. Поднял лицо к небу и долго в него смотрел, почти таким же невидящим взглядом, как и сын, словно прислушивался к чему-то, как будто бы можно что-то расслышать сквозь собачьи завывания и лай.

Потом, наверное, что-то расслышал, а может быть принял, наконец, правильное решение, обернулся к сыну и за его спиной увидел притихших зевак. Люди — соседи, прохожие, бабки из окружных дворов — столпились, выстроились почти в ровную линию, нет, в дугу вокруг Антона, на удалении в несколько шагов. Когда отец повернулся к сыну, они замерли и затихли под его тяжёлым взглядом. Отец медленно оглядел их всех и остановился на Галыбине. Разглядывая его в упор, отмечая про себя сходство с Галыбиным-старшим, которого он хотел бы увидеть так же близко, как его сына, сделал шаг, второй. Галыбин, вмиг побледнев, шагнул назад и упёрся в позадистоящих. Его лицо перекосило от страха, глаза вытаращились на пистолет. Отец сделал третий шаг и остановился возле сына. Тяжело перевёл взгляд вниз, на Антона, больше не удостоив внимания галыбинскому щенку.

Постоял, нависая над сыном с пистолетом, рукоятка скользила в крови. Собака выла, зеваки молчали, Антон плакал и раскачивался, словно убаюкивал сам себя.

— Пойдём со мной.

Антон раскачивался и не отвечал.

— Антон.

Тот, не переставая раскачиваться, поднял мокрое лицо и только сейчас, кажется, заметил возле себя чьи-то ноги.

— Пойдём со мной.

Антон едва-едва кивнул, но отец видел - сын не здесь.

— Антон. — Он тронул сына за плечо, оставив на футболке красное пятно. — Слышишь меня?

Взгляд сына проявился. Он проморгался, словно только-только проснулся, громко втянул носом и как будто понял, кому принадлежат ноги, стоящие перед ним. Увидел кровь на рукаве (там, где отец к нему прикоснулся), увидел наполовину раздавленную собаку в пяти шагах от него.

— Попрощайся с Даной.

— Что? — Спросил Антон, слизывая слёзы с губы, и поднял лицо на отца.

— Попрощайся.

— Да. — Антон осмысленно и очень серьёзно кивнул. — Да.

Он сделал движение, чтобы встать. Вдруг увидел пистолет и уставился на него. По выражению его лица отец догадался, сын только сейчас понял, что предстоит сделать. Мокрые от слёз глаза округлились.

— Нет, нет...

— Антон, — позвал его отец.

— Нет, пожалуйста, не надо!

— Антон, — позвал отец громче.

— Я буду за ней ухаживать, её же как-то можно выле...

— Антон!

От окрика Антон нервно заморгал и умолк, испуганно глядя на отца.

— Надо. Ты сделаешь это сам? — Отец задал вопрос и замолчал, давая сыну время осмыслить услышанное.

Антон открыл рот, словно недоговорил какие-то важные слова, но не издал ни звука, лишь покачал головой, как человек, который не может поверить в то, что услышал или говорящий: «Пожалуйста, не требуй этого от меня». Отец несколько секунд пристально смотрел на сына, потом кивнул.

Больше не медля, отец вернулся к собаке и выстрелил ей в голову. Первая пуля вошла пониже уха, голову собаки припечатало к земле, под мордой веером разлетелась кровь. Дана тут же подняла морду, во взгляде читалось и удивление и облегчение. Она смотрела искренне и чисто, словно благодарила за пулю. Он выстрелил второй раз и мысленно сказал: «Прощай». Голова собаки снова ударилась оземь. В последний раз Дана взвизгнула, этот вопль ввинтился в небо и резко стих. Грудь поднялась, опустилась, поднялась и опустилась в последний раз. Вокруг воцарилась тишина.

Отец обернулся к сыну. Раскрыв рот и не издавая ни звука, тот рыдал: губы искривлены в гримасе, которая возникает, когда человек пытается сдержаться, слёзы

струятся по щекам, из носа показалась пузыристая сопля. Отец сделал шаг к сыну, но тот вдруг не выдержал и заорал. Заорал, вскочил и, развернувшись, бросился прочь.

Когда ворота хлопнули с громким лязгом, Антон оторвал голову от подушки, оставив на ней мокрое пятно. Отец. Идёт к дому. Гравий хрустит под ногами. Остановился. Наверное смотрит на яму под забором. Последнее, что от неё осталось. Снова идёт. Сарайный замок. Скрип. Это петли на двери. Антон неслышно встал с кровати и осторожно выглянул в окно. И сразу же отпрянул. Отец выходил из сарая с лопатой в руке.

Отец вернётся спустя два часа. Все два часа Антон пролежит в своей комнате, пребывая в полусне, полуяви. Когда отец вернётся, Антон опять неслышно встанет, подойдёт к окну. Лопату, с налипшими на неё комьями земли, отец швырнёт к сараю. Прямо во дворе скинет с себя одежду, измазанную в данину кровь, там же снимет трусы и какое-то время будет стоял голый, задумавшись и ничуть себя ни стыдясь.

Потом он зайдёт в летнюю душевую кабинку, вымоется. Голый и мокрый прошлёпает в дом. Антон услышит, как заскрипит пол в соседней комнате, как пятки застучат по полу, и по звукам определит: вот отец подошёл к комоду, выдвинул ящик... задвинул, сел на кровать. Потом через окно Антон увидит, как отец снова вернётся к сараю и вытащит жестяное корыто (одна ручка отбита, на её месте две ржавые клёпки, о которые Антон несколько раз резал пальцы, каждый следующий раз забывая о предыдущем), сложит туда гору запачканных кровью вещей, выльет на одежду полбанки шашлычного розжига и кинет в кучу спичку.

Мальчик будет стоять у окна, уже не таясь. Отец словно почувствует, поднимет голову, их взгляды встретятся. Через минуту отец без стука войдёт в комнату и остановится на пороге. Антон замрёт и оробеет.

— Поедешь завтра на рыбалку? Только ты и я?

И тогда в душе Антона что-то вспенится и затрепещет, к глазам подкатит влага: вот он — отец — близко, смотрит спокойно, грустно, по-взрослому. Антон бросится через комнату и с разбега обнимет, чуть не собьёт с ног.

Конечно, он кивнёт, но ему покажется, что он кивнул недостаточно сильно, что папа может не заметить его движения. Он закивает неистово, ощущая под щекой волосы на папином животе. И вдруг отец сам опустит ладонь ему на голову и нежно (господи, как нежно!) проведёт ладонью по волосам. И если бы Антон догадался в этот момент задрать вверх голову, он увидел бы невозможное — в глаза отца будут стоять слёзы.

Засвеченный солнцем силуэт

Примерно через два километра от того места, где они сбили собаку, Лора остановила машину. Руки тряслись на руле, как у алкоголика, давно не видевшего стакана. Челюсти отбивали зубами чечётку. Она вылезла из машины в полуденный зной и не ощутила никакого тепла. Озноб заграбастал её и не выпускал из ледяных объятий. Только сейчас её догнало понимание ситуации. Роман вышел из машины, помог жене добраться до пассажирского кресла, пристегнул и дальше повёл машину сам. На приборной панели горел незамеченный индикатор ABS.

Ехали молча. Роман вёл машину на скорости шестьдесят километров в час, не дотягивая до разрешённых на трассе девяноста. Изредка он поглядывал на жену, Лору заметно трусило, она обнимала себя за плечи, уставившись взглядом в одну точку.

Въехали в какой-то посёлок и выехали. Следом второй. Индикатор на приборке не исчезал.

— А-бэ-эс-ка горит, — сказал Роман и глянул на жену.

Лора не ответила. Она сидела в кресле, подтянув колени к груди и поджав под себя голые ступни. Поникие плечи и наклон головы говорили, что она напугана и чрезмерно устала, будто бы измождённая чьей-то злой волей, словно ждёт, пока вернутся силы, пока появится желание жить.

Роман скосил глаза вниз, где её босая ступня смотрела на него пятью ногтями-вишенками. Ещё сегодня утром (да что, утром — ещё час назад) розовые подушечки на босой ступне рождали бы в нём прилив похотливого желания. Сейчас он видел лишь маленькую ступню, на которой от сидения возникла косая складка кожи между пяткой и подъемом стопы. В нём ничего не шевельнулось.

Он снова вернулся к дороге, отмечая как легко машина взбирается на крутой холм, откуда взору представился долгий выгоревший на солнце склон, с вершины которого трасса извивалась серой змеей, справа и слева отгороженная черно-белой чересполосицей на металлическом заборе. Машины, как муравьи, выстроились на длинном спуске в две колонны.

Притормаживая, чтобы на спуске не разогнаться, Роман придавил педаль тормоза и понял: что-то не так. Правую сторону чуть заносит в сторону. Он отпустил тормоз и попробовал снова. Не показалось, заносит. И тем больше, чем сильнее давит на тормоз. Предпринял ещё одну попытку затормозить, но тут же отказался: правый бок забирает вперёд, разворачивая машину к встречной полосе.

Роман отпустил педаль, выровнял курс. Шея под воротом майки моментально взмокла. Бросил взгляд в зеркало заднего вида, плотный поток машин. Вперёд — дорога в две полосы, между ними сплошная. Обогнать нельзя, справа железный забор над крутым скатом. Капля пота потекла между лопаток.

Вдруг «Nissan» впереди стал притормаживать. Роман смотрел на тормозные огни и, удивляясь собственному страху, не решался наступить на тормоз. Расстояние между ними сокращалось. Занеся ногу над тормозом, и не понимая, что делать, он смотрел на тормозные огни, вцепившись в руль.

— Лора?

Роман облизал верхнюю губу, вкус соли остался во рту.

— Лора? — Повторил он неожиданно просевшим голосом, и после паузы, безвольно наблюдая, как сокращается расстояние между ними и впереди идущей машиной, позвал громче:

— Лора!

L200 подобрался к Ниссану почти вплотную, и Роман вдруг ощутил, как реальность вокруг него разрушается, распадается... Не может быть, чтобы отказали тормоза после всего, что сегодня уже случилось. На доли секунды Роману померещилось, почудилось, что весь сегодняшний день - лишь правдоподобный (до рези в глазах правдоподобный) сон, от которого пора бы уже и проснуться. И чтобы развеять мираж, Роман нажал на клаксон.

Гудок вывел Лору из прострации. С обалдевшим выражением уставилась на тормозные огни машины впереди. Мозаика фактов, которые витали в салоне последние несколько минут, собралась воедино. Тут и индиктор ABS, сообщающий о проблеме с тормозной системой, тут и заносы машины в одну сторону, которые она безучастно отмечала краем сознания, пребывая глубоко в себе. Ведь ещё тогда, когда она тормозила, размазывая колёсами собаку по асфальту, машину тоже слишком круто заносило вправо, даже ESP не сразу справилась с курсом машины.

Лора ударила по кнопке аварийной сигнализации и схватилась за верхний поручень.

Впереди идущий Ниссан перестал тормозить, но был уже так близко, что можно разглядеть царапины на номере. Джип сокращал расстояние, нагонял Ниссан, забор мелькал справа черно-белыми пятнами. Роман перестал сигналить и вцепился в руль.

— Забор! Я об забор заторможу!

— Нет, нас перевернёт! — взвизгнула Лора. — Сигналь!

— Что?

Лора опустила кулак на середину руля, и стала лупасить по клаксону. Машина истерично заверещала.

— Двигатель выключить! — Его осенило.

— Тупой идиот!

Роман отпрянул от её крика.

Он увидел её испуганное лицо и, проследив взгляд, осёкся. Ниссан тормозил! Совершенно не отдавая отчёта в том, что делает, Роман дёрнул вверх ручной тормоз. Машина чуть замедлилась, оставляя за собой облако горелых покрышек. Расстояние до ниссана, почти исчезнувшее, перестало сокращаться. Ручник трещал и вырывался из руки. Спустя время номерной знак ниссана выплыл из-под их капота, потом колеса ниссана появились в поле зрения. Вот уже и полоса асфальта между их машинами.

Лора перестала давить на клаксон и только сейчас увидела, что Роман держит ручник, держит из всех сил, и жилы на руке от этого вспухли. Они почувствовали запах одновременно. Из-под ручки тормоза поплыл запах горелой резины. Почему резины, а не пластика, и не кожи, и не металла? Воняло резиной, а потом вдруг с хрустом ручка осталась у Романа в руках. Словно что-то, чем ручка связывалась с тормозами, разорвалось с хлопком лопнувшего троса, и ручка стала просто куском пластика в его руке.

Они смотрели друг на друга. На лицах за секунду мелькнули все мысли, которые они хотели друг другу сказать. И мысли, которые были в голове у Лоры были вовсе не похожи на сочувствие или растерянность. На её лице разлилась ярость. По её побледневшим щёкам, по напряжённым ноздрям, по пальцам, которые сжались в кулаки, Роман понял, что она едва сдерживается, чтобы не заорать ему, какой он идиот, дважды идиот, трижды идиот...

Роман отпустил бесполезный теперь ручник и ухватился за руль. Несильно прижал тормоз, только попробовал, и на скорости машину сразу же повело вбок. Он врубил дальний и стал яростно давить на сигнал, распутивая вокруг себя машины. Те, что шли сзади, отстали. Ниссан, идущий впереди попытался уйти к обочине, но приблизившись к забору, тут же вернулся на середину полосы и тоже стал сигналить впереди идущей машине. Похоже он решил не тормозить, уйти подальше от психа на L200.

Роман сам себя ощущал психом внутри взбесившейся машины, разучившейся тормозить, забывшей, как выравнивать курс грёбаным ESP, и вытаскивающая хозяев на встречную полосу, чтобы раскатать в лепёшку. Встречные машины сигналили, звуки их клаксонов одинаково нарастали издали, ревели на предельной громкости в момент когда машины разминались бортами, и затихали позади, уступая эфир новому клаксону.

Лора бледная, испуганная, вжалась в кресло и зажмурилась. Карандаш прыгнул с сиденья и юркнул в темноту под переднее кресло. Роман очередной раз облизал губу, вытер мокрые ладони об джинсы и перестал тормозить, выкручивая руль попеременно вправо и влево, выравнивая курс, рискуя задеть встречные автомобили. «Не выходит, хоть сдохни».

Роман вдруг осознал, что последние слова произнёс вслух. Он с силой долбанул ладонью по рулю и выкрикнул в лобое стекло, словно выплюнул:

— Сдохни!

Стрелка спидометра выползла уже за 100. Ручной тормоз болтался между сиденьями и дребезжал. Впереди показался конец оградительного забора, там появлялась

неширокая полоса обочины. Машины впереди ускорились. Ниссан оторвался и больше не тормозил, видимо, перепугавшись не меньше их самих.

Внезапно, как спасение, пришла догадка, которая показалась в эту секунду единственно правильной. Словно кто-то вложил чужую мысль прямоком в мозг. И скорее всего он бы не поверил этой непрошеной гостье, но однажды она уже приходила, такая же нелепая и абсурдная. И тогда она спасла ему жизнь, возможно для того, чтобы сейчас спасти снова.

Тогда его затягивал водоворот в пяти метрах от берега. Выныривая из последних сил и хватая воздух, сквозь застилающую глаза воду он видел физрука, окруженного на пляже воспитательницами. Он видел старших пацанов возле берега, но не мог крикнуть ни тем, ни другим, затхлая вода заливала рот, неведомая сила утягивала его за ноги в темноту ставка. Как и сейчас на дороге, тогда в голове выстрелила мысль: «Нырни». Не медля, он вдохнул и, почти не расходуя сил, кинулся головой вниз, позволяя омуту тащить его ко дну, навстречу самому жуткому страху в его жизни. Течение влекло его вниз, чуть закручивая вокруг оси, пытаясь высосать из него остатки воздуха. Он жмурился и со звериной силой сжимал челюсти, ожидая чего-то неизвестного и жуткого. Как вдруг у самого дна, где темнота сгустилась и превратилась в холодные скользкие водоросли, сила, тащившая его вниз, исчезла. Водоросли скользнули змеями по щекам, и тот же голос шепнул: «Теперь по дну». Цепляясь пальцами за подводные кусты, поднимая со дна тучи ила, он выбрался на мелководе и вырвался на поверхность воды поплавком, который с силой удерживали под водой.

Сейчас он снова безоговорочно поверил голосу, шепнувшему: «Понижь передачу». Не медля ни секунды, Роман выжал сцепление, схватился за ручку передач, оставив на кожаной оплётке руля мокрую пятерню, и кинул ручку передач в нейтральное положение.

«С пятой передачи на третью реально?» — Мысль занимала его не дольше, чем глазу потребовалось времени сморгнуть каплю пота, стёкшего с верхнего века.

Он толкнул ручку в паз третьей передачи. Ручка не поддалась, нижний её конец упёрся и не шёл.

— Давай! — Он снова толкнул ручку на третью, но на этот раз не отпустил.

Механизм боролся с ним, как армлестлер-чемпион, готовый выломать ему руку. Снизу раздавался скрежет, словно армлестлер скрипит зубами, только громче и безжалостней. Что-то ломалось там внизу, ручка тряслась, но не шла, выталкиваемая раскрученными до ста километров в час шестернями.

— Ты что делаешь? — Очнулась Лора.

Роман не отвечал ей, собрав всю волю в одной руке, превратившись в эту самую руку.

— Ты что делаешь? — Закричала Лора. — Ты выломаешь мне сцепление!

Она схватила его за руку, но опоздала — Роман всё таки победил, и ручка прыгнула в паз. Машина изменила звук и стала замедляться, словно кто-то тяжёлый прицепился сзади. Стрелка спидометра уверенно поползла влево.

— Ремонтировать сам будешь, понял? — Крикнула Лора, но Роман не обратил внимания.

Он смотрел на спидометр, скорость снизилась до 80 км. Машины впереди оторвались, образовав перед ним мертвую зону, свободную для манёвров. Не обращая внимание на Лору, он снова выжал сцепление и перевёл ручку в нейтральное положение, готовясь ко второй передаче. Глаза щипало от стекающего по лицу пота, Роман утёрся, вытер взмокшую ладонь об рубашку, и схватившись за ручку передач, с силой дёрнул.

— Ну же! Ну!

Он дергал ручку, застрявшую намертво, как воткнутый глубоко в бетон ржавый лом. После каждого рывка она мелко вибрировала, словно камертон; обручальное кольцо в такт камертону постукивало по хромированной отделке рычага. С каждым разом вибрация становилась явственнее, противно отзываясь в зубах (так и не сделал их перед отпуском, нехстати мелькнуло в голове), под ногами что-то скрежетало, словно там лопается и разламывается металл, и вдруг ручка прыгнула назад одновременно с треском, раздавшимся откуда-то из-под ног. Машина дёрнулась, словно уткнулась в невидимое препятствие. Стрелка спидометра поползла вниз, без остановки минуя 70км/ч, 60, 50 и остановилась возле 40, словно зацепилась за невидимый крюк. Металлическое ограждение закончилось, вдоль дороги вытянулась узкая обочина из мелкого щебня и песка, за которой вниз уходил крутой склон, поросший травой, и переходил в бескрайний лавандовый луг.

«Теперь глуши», — сказал голос в голове. Роман понял замысел. Он ухватился за эту мысль, внимательно собирая взглядом все мелочи, которые пригодятся для правильного торможения. Тормозить нечем — съехать с асфальта означает перевернуться или выскочить с обочины назад, но в заносе это верная смерть. Правые колеса цепляли протекторами песочно-каменное крошево, поднимая пыльный шлейф. От напряжения, которым вдруг заполнилось его тело, можно было запитать дохлый аккумулятор. Затылок намок, из подмышек тёк пот, стекая к мокрой резинке трусов.

Он обхватил ледяными пальцами ключ зажигания. Пальцы побелели от напряжения, ключ не поддавался. Ребристость на ключе впиалась в кожу и до вечера останется отпечатком причудливого узора. Он прилагал к ключу усилия, соскальзывая с него и снова хватаясь за мокрый от своего же пота ключ. Он не понял сам, когда бортовой компьютер погас, а стрелка с оборотами двигателя упала до нуля. Он заметил, что склоны за окном стали двигаться медленнее, а встречные машины быстрее проносятся мимо. Шум мотора стих, вот только под днищем стучало что-то отломанное и безжизненное.

Через двести метров, незаметно теряя скорость, он включил правый поворотник и аккуратно съехал на обочину, стараясь не приближаться правыми колёсами к крутому спуску за обочиной. Ещё через метров пятьсот инерция машины кончилась и L200 замер

в облаке пыли, которая сзади накрывала автомобиль желтым покрывалом, облепляя бока и капот джипа.

В машине повисло молчание.

— Пи-и-ипец. — Единственное, что сказал он перед тем, как выдохнуть и уткнуться в локти на руле.

Лора отпустила дверную ручку. Она смотрела на обломанные нарощенные ногти, на белые обескровленные страхом пальцы, впервые увидев свою часть тела такой некрасивой, а потом дернула ручку, оттолкнула дверь и выблевала наружу все вкусные чебуреки, съеденные в Черноморском. Роману было всё равно, он не смотрел на жену.

В машине, нагретой солнцем, оставаться было нельзя. Оставив её на обочине, спустились по насыпи вниз к лавандовому полю и уселись под пляжным зонтиком, извлечённым из туристического снаряжения. Оба молчали. Время от времени каждый делал глоток кваса из запотевшей бутылки и передавал другому. Карандаш лежал сбоку от Романа, касаясь носом травы. Лаванда стелилась перед ними фиолетовым ковром, лишь на горизонте уступая место холмам, казавшимся отсюда желто-серыми от выгоревшей на солнце травы.

Потрясённые, молчали. Если коробка трансмиссии ещё не до конца поломана (а Роман был уверен, что поломана она как раз конкретно), то с тормозами, которых нет, ехать дальше невозможно. Конечно, можно было бы попробовать, но без него. Он в эту машину не сядет, разве только, если её на буксир возьмёт эвакуатор.

— Хреновый у нас «Mitsubishi-assistant», — сказала Лора.

Роман глотнул кваса, передал бутылку и покосился на жену. Ругается, приходит в себя.

Служба «Mitsubishi-assistant» заявляла себя, как центр круглосуточной помощи, который указывает неотложные услуги для вашего автомобиля на всей территории Украины. Пробили колесо - звоните, приедем — заклеим. Кончился бензин — звоните, приедем — заправим. Отказали какие-то системы — приедем, эвакуируем. С одной оговоркой маленьким шрифтом внизу договора — в будние дни. Выяснилось это под зонтом на лавандовом поле в субботу днём. Это был тот несчастный случай, когда Роман полностью согласился с женой. Он бы даже подобрал другое словцо, «хреновый» - слишком мягко сказано.

— Что делать, Рома? Долго будем тут сидеть? — спросила, не отрывая взгляда от линии, где фиолетовый цвет ковра сменялся на желто-песочный.

— Что ты предлагаешь?

— Я предлагаю, — ответила она с заметной иронией в голосе, — чтобы ты что-то сделал, как мужчина.

— Я зонтик воткнул.

Роман отвернулся. Возникло желание встать, возвыситься в полный рост над ней и не просто послать, а проорать ей сверху, чтобы она катилась... и не подбирать выражений. Вспомнить всё то, что он старательно забывал после интерната. Уж где-где, а там невольно учишься таким витиеватым фразам, что от них раскаляется язык.

Он поднялся и, свистнув Карандашу, пошёл вверх к машине.

— Ты куда?

Ему хотелось кинуть через плечо «Подальше от тебя», но он смолчал.

— Ты не слышишь? Я спрашиваю, ты куда?

Роман остановился, взобравшись на треть холма. Колкий ответ уже замер на губах, но сделав глубокий вдох-выдох и бросив через плечо «Осмотрюсь», он продолжил взбираться на холм.

Наверху он присел перед машиной и заглянул в переднюю арку за колесо. Мог и не заглядывать, всё равно ничего не понимал в устройстве автомобиля. Машину заносило влево, значит проблема с правым колесом... или всё-таки с левым? Чёрт его знает. Можно было бы поднять машину домкратом, но что толку? Даже если там что-то сломано, объяснить в ближайшем магазине, что именно сломалось, он не сможет.

Роман встал, вытер с шеи пот, майка к этому времени пропиталась насквозь. Посмотрел влево, увидел дорогу, на которой чуть не убились. Посмотрел вправо — вдалеке посёлок. Навряд ли там есть автомастерская, но вдруг. Почему-то вспомнилась детская считалочка «Чики-брики, пальчик выкинь». Вытащил из кармана смартфон, открыл приложение с картой. Спутник показал его в трёх километрах от посёлка Долинного. И в 37 километрах от Симферополя, примерно столько же в обратную сторону, где в Евпатории могли бы быть нормальные сервисные центры. Но в ту сторону пришлось бы проехать через Саки, а делать это у него не было вообще никакого желания.

Роман сунул телефон в карман и задумчиво смотрел в сторону посёлка, мысленно повторяя «Чики-брики, пальчик выкинь». Карандаш жался в тень под машиной.

На белом знаке когда-то было написано Долинное. Сейчас же кто-то остроумный закрасил первую букву «о» белой краской, дав посёлку другое имя. Вошли в посёлок молча. Она в розовой шляпе кружевной, солнечные пятна прыгают по лицу. Босые ступни в кожаных вьетнамках, между пальцами собралась грязь. Роман смотрел на грязь между её пальцами и у него было ощущение, что он не скоро захочет её как женщину. Может быть от жары, а может быть от её существа, которое сквозило во всём.

Решив идти в посёлок, он колебался, звать её или нет. Не хотелось оставлять её одну в поле, и вовсе не потому, что на неё мог кто-то напасть, а потому что это её машина сломалась, и пусть она тоже прётся в деревню и ищет механика. Идти рядом с ней не улыбалось — она снова будет предъявлять к нему претензии, либо будет ныть, что устали

ноги. Уйти бы молча, но сделать так он не мог, всё ж таки они семья, а в семье, по его разумению, так не поступают.

Она пошла с ним. «Поймать попутку?» — спросил Роман, но Лора отказалась. Видите ли не захотела сесть в машину и узнать, что её подвозит кто-то из Сак. Это была какая-то странная причина, притянутая за уши. Скорее она стеснялась, что от неё всё ещё мог исходить запах. Этот её бзик на чистоте. Как она могла пахнуть, когда в переоделась в сухую одежду ещё час назад, а перед этим вылила себе на промежность три бутылки минералки?

Но пешком, так пешком. Несколько раз, пока шли к деревне, Роман оглядывался на машину, оставленную на обочине с включенной аварийкой. Днём аварийка была не нужна, вряд ли кто-то не увидит припаркованный большущий черный автомобиль, даже если взбредёт в голову обгонять попутки по обочине. Пусть моргает, так правильно. Они удалялись от машины и задыхались от асфальта, нагретого солнцем и покрышками проносящихся мимо автомобилей. Они пробовали идти под склоном по полю, но кочковатая почва доставляла радость только Карандашу - о бежал один с высунутым набок языком, изнывая под чёрной шерстью от жары не меньше, а то и больше людей, Роман и Лора же вернулись на обочину.

Шутник, закрасивший букву «о» на знаке, оказался прав. Посёлок растянулся вдоль дороги, и конца ему не было. «Длинное-Долинное», повторял про себя Роман, вышагивая мимо расположившихся вдоль трассы однотипных ветхих домов. Между трассой и домами жители разбивали землю на огороды, с которых продавали туристам «полезные домашние» овощи и зелень (насквозь пропитанные свинцом и другими тяжелыми металлами, щедро распыляемые мчащимися мимо машинами). Скамейки перед домами в это время дня пустовали. Роман постучал в одну-другую калитку, но ответом был только лай собак, поэтому они шли дальше, потев и допивая остатки кваса. Лора переносила полуденный зной легче, большая розовая шляпа вздыхала над ней широкими полями. Карандаш бежал впереди, выискивая тенистые участки, поминутно оглядывался на хозяина.

Людей они нашли на продуктовом рынке. Похоже, все жители посёлка собрались за длинной чередой ржавых столов, поверх которых было разложено изобилие овощей и фруктов, предназначенные для туристов. Тут же останавливались машины, поднимая пыль с обочины, которая опускалась и на овощи. Пассажиры в легких одеждах, цветастых майках и шортах, выходили из прохладных салонов в жару и растекались по рядам, пробуя, покупая, набирая с собой в дорогу крымских вкусов. У первой же с краю продавщицы Роман узнал, что мастерской нет, но есть Сергеич, у которого руки не из жопы, как у некоторых (при этом покосилась на мужчину, который сидел за её спиной в старых жигулях, доверху набитых ящиками). Но так как суббота, скорее всего можно считать, что и Сергеича нет. Сказав это, женщина звучно ударила большим пальцем себе под горло. «Вона, спроси у Михалыча, он с ним товарищется».

Михалыч рассказал, как найти дом Сергеича, подтвердив, что искать его раньше понедельника не стоит, и лучше поехать в Саки, там точно есть мастерская, правда, работает она в субботу или нет, он сказать не смог. Роман поблагодарил и спустя минут

тридцать уже стучал в калитку, за которой брехал пёс. На настойчивый стук из дома показался хозяин. Он вывалился из дверей и направился не к калитке, а на задний двор, держась рукой за стену, и больше оттуда не показывался.

Солнце начало путь к горизонту, когда, накупив на придорожном рынке фруктов и воды, они вернулись к своей машине. Если бы не мигающие аварийные огни, в изменившемся освещении машина казалось бы серой и давно брошенной. Лобовое стекло покрывала желтоватая пыль, из-под днища на землю натекла чёрная жирная лужа. Карандаш залез под машину, растянулся в тени и, тяжело дыша, вывалил язык. Роман снова установил зонт, затем перенёс собаку в тень под зонт и вылил на неё всю бутылку воды.

На обратном пути они почти не разговаривали, если не считать короткой перепалки. Если бы тормоза были исправны, он бы поймал попутку до Симферополя, и упросил бы отбуксировать до автосервиса «Mitsubishi». Если бы трансмиссия была исправна, то даже с поломанными тормозами он бы мог на первой передаче рискнуть поехать в Симферополь. Но со сломанными тормозами и раскуроченной коробкой решиться на поездку он не мог. Последнее, что можно было бы сделать - позвонить Саше и попросить помощи, но во-первых, Саша не автомобилист, а во-вторых, зачем Лоре давать возможность срывать неистраченное зло на человеке, который и хотел бы помочь, да вряд ли в этой ситуации сможет. Роман предложил жене поймать машину и вернуться в Евпаторию, переждать в гостинице до понедельника, но Лора не хотела об этом ничего слышать, настаивая на том, что в понедельник они найдут здесь машину без колёс, с разбитыми стёклами и с выпотрошенным салоном. На вопрос, что же Лора предлагает, та раздражённо бросила ему, чтобы Роман ставил палатку, «не зря же они тащили всё снаряжение».

Снаружи кузов L200 напоминал брюхо насекомого, а внутри больше напоминал длинный и широкий гроб, куда можно было уложить не только вещи, но и несколько человек сразу. Роман откинул крышку кузова и почти сразу наткнулся на коробку с пистолетом. Он повертел его в руках и отложил в сторону. Вытащил палатку, надувной матрас, карематы и захлопнул крышку. Лучше спокойно провести ночь, чем выслушивать новые претензии.

Роману снился сон. Это был один из тех снов, после которых просыпаешься и думаешь «Какое же счастье, что это был сон! Но, господи, какой же это был бред!»

Он стоял перед глубокой ямой, обнесённой по периметру невысоким ограждением. Солнце жарит сквозь листву деревьев, внизу, метрах в трёх от края ямы, грузный гиппопотам топчется на коротких лапах, мокрые ноздри темнеют на серой массивной голове. Глаза кажутся с этой высоты черными бусинами. Животное раззевает пасть, по-собачьи ловит всё, что сверху кидают посетители, и роняя слюну, чавкает.

Дети галдят вокруг, облепляя ограждения на манер обезьян. «Мама, смотри...», «Ты видел его хвост?...», «А он будет мороженое?» — раздаются крики со всех сторон. Солнце играет в крестики-нолики с тенями листьев на асфальте. Откуда-то потянуло запахом

сена, наверное, загон с лошадьми рядом. Но радости нет. Неприятное предчувствие не отпускает с того момента, как Роман пришёл в себя. Что-то смутно знакомое в этом месте. Этот вольер. Этот бегемот. Даже эта яма, уходящая отвесно вниз.

Роман отошёл от вольера, на его место тут же шмыгнули дети, повисли на перилах. Растерянным взглядом Роман скользит по площадке зоопарка, по людям, пытаясь разобраться с быстро растущей тревогой. Он не должен быть здесь. Он уже видел этого бегемота, видел отвесную стену и слышал эти же «А он будет мороженое?» Дежа вю?

Он оглядывается, не понимая зачем он здесь, как вдруг цепляется взглядом за сумку-переноску с младенцем. Девушка идёт по боковой дорожке, ребенок, похожий на розовощёкого гнома, спит в сумке у неё на груди, руки и ноги болтаются, словно кукольные. При взгляде на младенца тревога прыгнула в красную зону. Мурашки поползли по спине. Воспоминание стало вдруг почти осязаемым, как новогодний сюрприз, обмотанный подарочной бумагой, пощупай хорошенько и поймёшь.

От вольера оттолкнулись несколько мальчишек, утомлённые созерцанием ленивой туши, и стремглав кинулись прочь, наперерез девушке с ребенком. Та их пропустила и подошла к заборчику. Подарочная бумага, скрывающая под собой воспоминание, затрещала, надорвалась, края бумаги поползли в стороны...

Роман инстинктивно сделал шаг к вольеру, не выпуская девушку из поля зрения. Та увидела бегемота. Достала из кармана телефон. Бумага рвалась во многих местах, покрывалась трещинами, словно стекло, хрустела и обсыпаясь крошечками, проявляя на свет то, что спрятано в подсознании. И вдруг Роман вспомнил! И только открыл рот, как девушка перегнулась через перила, вытянула руку вниз с телефоном сфотографировать бегемота. Бегемот задрал морду с раскрытой пастью и тут же захлопнул, поймав свалившуюся сверху еду... На груди у девушки болталась опустевшая переноска...

Роман резко проснулся и вытаращился в темноту, пребывая в сонном потрясении. Протяжный женский вопль медленно затухал в его сознании, словно кто-то выкручивал ручку громкости. Сел на месте, попытался оглядеться, спросонья не понимая, где находится. Повернул голову и боль в шейных мышцах схватила его горячей пятернёй. Он охнул и всё вспомнил.

Вылез из палатки, не потревожив жену. Она что-то невнятно сказала вслед и ещё сильнее подмяла полотенце под лицо. Карандаш проснулся и выскочил наружу так быстро, словно и не спал, ожидая, когда можно облегчиться. Роман застегнул молнию на палатке.

Небо затянуло тучами. Луна освещала ту сторону облаков, что обращена к миллионам звёзд, по эту сторону до рассвета поселилась темнота. Карандаш, черный на черном, где-то невдалеке бойко журчал, струя шипела, орошая утоптанную землю. Роман подумал, что не мешало бы последовать правильному примеру.

Отойдя от палатки, отлил. Из темноты появился Карандаш и замер у ног лохматой игрушкой. Холодно. Возвращаться в палатку не хочется, там душно. Спать тоже не хочется, выспался. Девушка из сна никак не уходила из головы. Много раз он ставил себя

на её место. Воображение рисовало ему ужас, молниеносный шок, вслед за которыми приходит истерика и беспомощность. Он не мог себе представить, что она чувствовала, когда дитё выскользнуло и на её глазах очутилось в пасти бегемота. Что кричала? Или молчала? Или прыгнула? Он не видел, ему рассказывали, но и этого рассказа было достаточно, чтобы история впечаталась в память. Он будто своими ушами слышал хруст костей и видел жующую пасть на безразличной ко всему морде с глазами-бусинами.

Он старался забыть этот случай и никому не пересказывать, у людей хватает историй, которые хотелось бы забыть, которые только и ждут случая напомнить о себе. Сколько бы времени ни минуло, они не забываются, остаются омерзительными... как раздавленная джином мертвая собака...

Карандаш опустил животом на траву, вытянул лапы. Роман задумчиво гладил пса. Забыть вчерашнее невозможно. Оно добавится в копилку историй, о которых будет молчать, но забыть это уже невозможно.

— Пойдём спать, мальчик.

Вернувшись в палатку, нашёл жену в той же позе и тем же выражением на лице. Так спят дети - с оттопыренной нижней губой, словно у неё отобрали что-то ценное. Карандаш улегся в ногах. Роман вытянулся рядом с женой, закрыл глаза. События вчерашнего дня, словно только этого момента и ждали, завертели перед глазами, как кадры немой хроники. Погружаясь в сон, не верилось, что всё это случилось вчера...

Лицо приятно охлаждал поток воздуха из переднего сопла кондиционера. Мимо проносились пейзажи жаркого летнего утра на фоне Северного Моря — бескрайнего и тяжёлого, на волнах качались чайки и беспокойно крутили маленькими головами, выискивая добычу, а некоторые, особо смелые, взлетали в небо и, заложив крутой вираж, пикировали в неприветливые холодные волны. Сквозь наглухо закрытые стекла машины Роман унюхал запах соли и чего-то ещё. Наверное рыбы, или хлорки. На горизонте показался корабль, наверное, ледокол, но мимо окна промелькнул рекламный щит, на котором изображена бутылка кваса, а по стенкам стекают капли, как на телевизионной рекламе пивных бутылок, и внезапно захотелось пить.

Роман потянулся назад, к сумке-холодильнику на заднем сиденье, но ремень безопасности туго натянулся и не пустил. Карандаш, лежащий рядом с холодильником, поднял голову и твякнул, словно просился в туалет, но какой может быть туалет, когда машина так несётся?

Чтобы дотянуться-таки до холодильника, Роман дернул ремень и услышал лишь металлический щелчок, как от выстрела пневматического пистолета - это ремень натянулся и застрял. Ощущая возникшее вдруг раздражение, Роман дёрнул ремень ещё раз. И ещё. Ремень стрелял щелчками возле уха, а в груди от этих звуков закипала немотивированная злость на ремень, на пистолет, на рыбу, та хотя бы на этот грёбанный квас — не догадавшись отстегнуться, Роман дергал ремень снова и снова, уже даже позабыв, зачем это делает.

Образ бутылки с квасом померк и пить расхотелось, осталось только одно желание - отстегнуться и выйти к чёрту из грёбаной из машины, которая начала реветь, словно сонный зверь, которого дергают за усы. Машина ревела громче и в какой-то момент Роман оторвал взгляд от ненавистного холодильника, который был по-прежнему недосыгаем, и увидел глаза этого машинного зверя.

Зверь сидел за рулём в рубашке жены, задранный на бёдрах, но выше рубашки были только глаза, холодные и презрительные, а под ним рот, обильно покрашенный помадой, который внезапно раскрылся и вместе с усилившимся рёвом мотора прокричал Роману прямо в лицо, обильно разбрызгивая слюну: «Собака не стоит моей жизни!». Не в силах оторваться от этих глаз, будто бы замороженный ими, Роман каким-то чутьём понял, что машина ускорила ещё больше и несётся навстречу чему-то, кому-то.

Не поворачивая головы к дороге (и зверь по-прежнему смотрел прямо в глаза, а губы его растянулись в красной усмешке), Роман увидел впереди на дороге мальчика — он лежал, свернувшись калачиком, а возле него сидел маленький чёрный пёс, очень похожий на Карандаша. Господи, это и есть Карандаш! Карандаш оглушительно лаял, защищая мальчика, ощерившись и вскочив на четыре лапы, а хвост его выпрямился палкой и дёргался из стороны в сторону, а на том месте, где собака только что сидела, растекалась большая лужа крови, намного больше, чем сам Карандаш... А в следующее мгновение Роман оказался в теле того мальчика, только ни Карандаша, ни крови рядом не было, а весь мир перед глазами заслоняла стена (откуда-то пришло знание, что это туалет), облицованная черно-зелёным кафелем. Мальчик распластывался по полу, лицом по рассыпанной хлорке, кашлял от запаха, который заползал во все щели - в нос, в рот, в уши, даже в глаза, а рядом стоял кто-то очень большой и очень тёмный, а потом вдруг это существо наклонилось и прямо в ухо закричало: «Убей собаку!»

От крика Роман проснулся, сердце выпрыгивало из груди. Расширенными от ужаса глазами он смотрел в потолок палатки, медленно возвращаясь в реальность.

Холодный воздух, пропитанный ароматом намокшей от росы лаванды, проникал в наглухо застёгнутую палатку, предрассветная серость сочилась сквозь мокрый полог, провисающий под тяжестью скопившейся на нём влаги. Карандаш вскинул голову и наострил уши. Роман оглядел палатку, протянул руку вверх и ткнул пальцем навес, и это простое движение убедило его, что он в реальности.

Внезапно пришло облегчение, то был только сон. Снаружи палатки капли влаги, рассыпанные по непромокаемой ткани, соединились и потекли вниз коротким потоком. Роман проследил взглядом траекторию и повернулся на бок. Лора ещё спала, в углу приоткрытого рта блестела слюна, брови сдвинуты, лицо хмурое. Это выражение не покидает её даже во сне, подумал Роман, что будет утром, не надо даже загадывать — желчь и сарказм потекут из неё, как... кровь из собаки (Роман зажмурился и усилием воли прогнал из головы остатки кошмарного сна). Начинать день раньше, чем Лора сама проснётся, ему не хотелось вовсе. Поэтому он цыкнул на Карандаша, когда тот твякнул, просясь на улицу. Улёгся на другой бок, спиной к жене, и решил обязательно заснуть, убеждая себя, что то был только кошмар. Второй за одну ночь...

Лай Карандаша, казавшийся оглушительным в наглухо застёгнутой палатке, выдернул Романа из сна. Он сел, не понимая почему так колотится сердце и почему Карандаш нервно дёргает хвостом (и это движение показалось смутно знакомым, но не более того). Лора тоже подскочила и, натянув на грудь плед, испуганно уставилась на Романа. Тот кинул взгляд на жену, а потом увидел молчаливый силуэт чужака снаружи. Незнакомец стоял в лучах низкого солнца, Карандаш облаивал его, а тот не шевелился, только отбрасывал на палатку неподвижную тень. Эта тень! Смутный образ падающей на него тени мелькнул перед мысленным взором, а во рту почему-то появился вкус хлорки.

Лора с округлившимися от испуга глазами (снова дежавю, — подумал Роман, — только почему-то не хватает накрашенных губ) схватила мужа за руку, когда тот потянулся к двери. Кивнув жене, медленно расстегнул молнию на входе. Карандаш выскочил и, отбежав от палатки, несколько раз там тявкнув и замолчал.

Роман изнутри палатки смотрел на расстёгнутую молнию и не знал к чему готовиться. В голове мелькнул смутный образ большого и тёмного человека из сна, который что-то прокричал ему на ухо. Человек, подошедший на рассвете к одинокой палатке в нескольких километрах от человеческого жилья, должен был сказать что-то вежливое, вроде «Извините» или «С добрым утром», в крайнем случае громко покашлять, чтобы как-то выразить свою неловкость от того, что в такое раннее время врывается в чужую жизнь. Во всяком случае, Роман поступил бы именно так. Этот же просто молчал и даже не дёрнулся, когда к нему из палатки выскочила собака. Невелика собака, но всё же. С сожалением Роман подумал о пистолете, оставленном в машине. Игрушка, похожая на боевого, могла хоть как-то отпугнуть.

Медленно, как в петлю, Роман сунул голову в проём и замер, ослеплённый ярким светом, успев разглядеть засвеченный солнцем силуэт коренастого мужчины в бейсболке, а поодаль другую фигуру, похожую на мальчишескую.

— С добрым утром, — сказал коренастый. — Разбудил?

Запах семьи

Мальчик спал плохо, ворочался с боку на бок, мучимый кошмарами, которые после пробуждения быстро забылись. Проснулся и, лёжа в рассветном сумраке, ждал отца, почему-то думая, что они выедут на рассвете, как это происходило всегда, когда отец уезжал рыбачить со своими взрослыми. В тишине, которую не нарушали даже соседские собаки, за стенкой храпел отец. Минуты ожидания тянулись будто часы, потолок в детской комнате постепенно светлел, и с каждой минутой всё сильнее казалось, что отец передумал ехать с ним на озёра. Мальчик лежал затаившись и обводил взглядом неровности на побелке. Будильник в соседней комнате прозвенел внезапно и пружины заскрипели под отцом. Отец поднялся. Мальчик улыбнулся и тоже встал с кровати.

Оранжевый диск солнца только выглянул над горизонтом, когда со двора выехал синий фольксваген, в котором сидели отец с сыном. Посёлок ещё спал, в нескольких домах вслед машине забрежали собаки, но, быстро потеряв интерес, утомонились, сонные вернулись по будкам. Набирающие силу солнечные лучи высушивали влагу, скопившуюся за ночь на крыше и бортах машины.

Мальчик опустил стекло и прижался щекой к двери, ветер трепал волосы на макушке. Антон равнодушно провожал плывущие мимо дома и пустынные в воскресный день перекрестки. Внутри себя робко радовался, что папа с ним впервые едет на рыбалку один, без других мужчин, без бутылок спиртного. Время от времени отрывал голову от окна и поглядывал на папу, отмечая сосредоточенный взгляд запавших глаз и несильный запах ещё не перегоревшего алкоголя. Значит отец пил ночью и лёг поздно.

Вдруг зазвонил телефон. В углублении под автомагнитолой рядом с флаконом капель для глаз лежала Nokia. Телефон вибрировал и дилинькал. Отец не брал, даже не смотрел в его сторону. Для звонка рановато. Мальчик переводил взгляд с подпрыгивающего на пластике телефона на отца и обратно, но ничего не спрашивал. Телефон дилинькал и жужжал. Не выдержав, отец протянул руку взять трубку, как звонок оборвался на середине мелодии и, издав печальный заунывный звук, стих. Отец взял трубку, повертел перед собой, нажимая кнопки, и сунул в нагрудный карман.

— Разрядился. — Помолчал и добавил, словно говорил сам с собой: — Ну и хорошо.

Мальчик кивнул и отвернулся к окну, боясь выдать свою радость, что отец только с ним.

Низкое солнце слепило глаза, опущенные на лобовое стекло автомобильные козырьки от прямых лучей не спасали. Синий фольксваген катил по пустой дороге в сторону Симферополя, не доезжая до которого были искусственные озёра с деревянными беседками и мангалами. В багажнике лежали лодка и спиннинги, день обещал был хорошим.

Городской пейзаж сменился сельским, на смену пришли бескрайние поля. Низко над землей летали стрижи, издали напоминавшие ласточек. Рассветное небо на глазах меняло цвет, становилось у горизонта ярким, почти белым от восходящего солнца.

Мальчик закрыл глаза и представил, как скоро рядом с отцом будет сидеть в лодке, держать спиннинг и вглядываться в воду. Ветер шевелил волосы и охлаждал шею. Мальчик улыбался, временами открывал глаза, поглядывая в окно, и снова закрывал.

Дорога шла на подъём, капот машины словно целился в бескрайнее небо. Совершив изгиб, дорога продолжала взбираться на холм. Солнце светило теперь справа, бросая тени от редких придорожных деревьев мальчику на лицо. Преодолев подъём, двигатель машины успокоился и перестал устало урчать. Автомобиль покатился с горы вниз, набирая скорость. В желудке мальчика что-то взлетело, это было приятное чувство, такое же как в детстве, когда мама раскачивала его на качелях, а он, счастливый, кричал «... ещё! Мама, ещё!».

Открыв глаза, его взору предстала пустая дорога, змеёй уходящая далеко вниз к посёлку, что вытянулся вдоль трассы почти у самой кромки земли на горизонте. Далеко на дороге что-то чернело, наверное машина, словно большой муравей притаился на дороге. Антон вспомнил про муравьёв в самодельных формикариях, вспомнил стадион, вспомнил Глыбу и Дану... Воспоминания стёрли улыбку с его лица. Приятное чувство в животе исчезло, свернувшись в тугой комок, как сворачивается молоко, в которое влили яблочный сок. Мальчик отвернулся к окну, чтобы скрыть от отца заблестевшие глаза.

Он почти справился с подтупившими слезами, когда синий фольксваген проехал мимо большого черного автомобиля, припаркованного на обочине. В следующую минуту он ничего не понял. Отец резко затормозил, съехал на обочину и, закинув локоть назад, обернулся. Между бровей собралась складка. Очень нехорошая складка. Отец отстегнулся и, бросив сыну «Подожди здесь», вышел. Мальчик быстро утёр слёзы и обернулся, глядя, как отец идёт по обочине к незнакомому черному джипу, который спереди и правда напоминал муравья.

Вокруг стояла тишина, нарушаемая только хрустом камушков под подошвами тяжелых отцовских ботинок. Антон высунулся окном и с недоумением наблюдал, как отец останавливается перед джипом и стоит там неподвижно, как статуя. Затем медленно обходит вокруг, возвращается к капоту и снова стоит, будто загипнотизированный. Антон взялся за ручку, открыл дверь и быстро вышел из фольксвагена.

Отец сидел перед бампером и гладил его рукой. Затем что-то растёр между пальцами и обтрусил рука об руку, разглядывая черное пятно, натёкшее из-под машины. Антон двинулся к отцу, ощущая, как под кедами крошатся глинистые катышки и хрустит песок. Папа сунул в чёрную лужу палец, поднёс к носу и кивнул сам себе. Вытер палец об бампер машины, выпрямился и ещё раз обошёл машину, что-то разглядывая сзади. Сидя на корточках замер, глядя себе под ноги. Так и сидел.

— Пап?

Антон подошёл к застывшему в одной позе отцу.

— Пап? — ещё раз окликнул, чуть громче.

Отец вскинул голову и посмотрел на Антона в упор.

— Пап? — произнёс Антон и притих.

Желваки появлялись и исчезали на скулах отца, вокруг носа обозначились напряжённые складки, ноздри словно у коня раздувались на вдохе, отец сжимал губы в бескровную полоску и молча смотрел сыну прямо в глаза. От этого взгляда холодок пробежал по ногам и моментально заledenели пятки. Он увидел отца возле гроба мамы, бледного и злого. Не смог отвести взгляд, ощущая, как ноги слабеют и как предчувствие беды вползает в душу, словно за его спиной раскрывала голодную пасть чёрная дыра и оттуда тянет холодом.

— Пап, ты чего? — вымолвил Антон.

— Глаза чешутся, сын. Очень чешутся.

Отец выпрямился, потёр глаза ладонями и снова посмотрел на сына.

— Похоже у этих людей беда. Помочь надо.

— У каких людей? Какая беда?

Отец кивнул вбок. Антон обернулся и увидел внизу под холмом туристическую палатку. Он обернулся к отцу, открыв рот, чтобы задать вопрос, но так и не спросив, закрыл. Отец прошёл мимо, на ходу бросив «пошли», и стал спускаться по насыпи.

— С добрым утром, — сказал коренастый. — Разбудил?

С быстро бьющимся сердцем Роман вылез из палатки, поставил ко лбу ладонь козырьком и сощурился. Карандаш сидел в стороне, наострив уши, и с безопасного расстояния принимался к чужакам. Незнакомец в джинсовой рубашке, камуфляжных брюках и тяжёлых шнурованных ботинках, усталый и небритый, казался помятым, как после болезни или ночного застолья. Опустив руки в карманы, он выглядел расслабленным, в его позе не таилось ничего опасного, но Роман успел заметить взгляд, которым незнакомец скользнул по нему. Так смотрят на противника перед дракой. Так смотрит работодатель на первом собеседовании. Так на тебя смотрит женщина, когда пытаешься познакомиться с ней на улице. По улыбке, в которой растянулись губы незнакомца, стало ясно, собеседование он сегодня не прошёл бы и работу не получил. За незнакомцем стоял ребенок в джинсах и кроссовках, и замороженный не отрывал глаз от Карандаша.

— Здравствуйте. Вам что-то нужно? — ответил Роман после затянувшейся паузы.

Коренастый улыбнулся шире:

— Я капитан милиции, райотдел города Саки, это мой сын. Антон, поздоровайся.

— Здрасьте, — сказал мальчик.

«Сакской... Нашли... — сердце снова зачастило. — Стоп! Зачем мальчик? Да, и не по форме... — пронеслось в голове. — Не паникуй. Разговаривай.»

— Здравствуйте, — выдавил он из себя.

— Я вижу, вы сломались. — Мужчина махнул рукой в сторону дороги. — Напрасно вы там машину оставили. Вам повезло, что колёса ночью не сняли и салон не выпотрошили. Вы бы ничего и не услышали, у нас тут всякие умельцы есть. Что случилось? Что-то с тормозами?

— Почему вы так думаете? — спросил Роман.

Мужчина усмехнулся:

— А на кой чёрт я под каждое колёсо бы камень клал и аварийку включал?

Роман молчал, поглядывая то на мужчину, то на мальчика. «Логично.»

— Да, что-то с тормозами. — сказал Роман.

— Ещё и картер разбили?

— Какой картер?

— Да он там один вроде. — Усмехнулся мужчина, словно ответ Романа его повеселил. — Масло всё вытекло. Видели?

Роман кивнул, вспоминая чёрное пятно под машиной.

— Так. И что? — Ответил он, понимая, что ответ прозвучал не слишком дружелюбно.

Из палатки высунулась Лора, на мгновение замерла, сощурившись против света, вылезла и подошла к мужу. Роману вдруг показалось, что он вернулся на минуту в прошлое — мужчина и мальчик заговорили теми же словами и интонациями:

— Здравствуйте, я капитан милиции, райотдел города Саки, а это мой сын. Антон, поздоровайся.

— Здравсьте, — снова сказал мальчик.

— Мы увидели, что ваша машина сломана, — продолжал обращаться мужчина к жене, — решили помочь. Мы вообще-то на рыбалку едем. А тут смотрю - машина с аварийкой, номера киевские, значит туристы, сломались. Решили помочь.

— Спасибо, мы уже вызвали помощь. — Сказал Роман, обнимая жену. — К нам скоро приедут.

— Когда скоро? — Спросила вдруг Лора, повернув лицо к мужу. — Завтра что ли?

— А у вас документы с собой? — Задала она вопрос незнакомцу.

— Документы? — переспросил мужчина.

— Удостоверение.

Мужчина улыбнулся, достал из нагрудного кармана вещи, телефон переложил в брюки, красную книжку ловко раскрыл и протянул Лене, не выпуская из рук. С

фотографии на них смотрел этот же человек, только молодой и неуставший. Роман попытался прочитать имя и фамилию, но мужчина уже захлопнул удостоверение и убрал.

— Смотрите, у нас с тормозами неполадки, — начала Лора деловым тоном, — и, кажется, коробку спалили. Нас несло на этом спуске, чуть не убились. Вызвали «Mitsubishi Assistant», но они приедут только завтра. У вас есть толковый механик, чтобы посмотреть нас? Мы туда ходили, но там только алкаш какой-то, и тот вдрызг.

Мужчина посмотрел в сторону, куда махнула Лора.

— Куда, в Долинное? Во, даёте! — Он улыбнулся, как человек, услышавший невероятную чепуху. — Я в Саках не всем свой старенький пассат доверю, а вы хотели L200 здесь чинить?

Мужчина улыбался и разглядывал их. Что-то неловкое, отчасти неприятное было в его взгляде, будто бы приценивался, прикидывал в уме какие-то варианты, и если бы не мальчик за его спиной, Роман бы сказал, что тот замыслил недоброе. Но на губах снова появилась вполне доброжелательная улыбка, и мальчик стоял такой угловатый, расстроенный тем, что вместо обещанной рыбалки скучает здесь с незнакомыми ему туристами.

— Нам неловко вас задерживать. — Роман смотрел на мальчика.

— Не проблема, я сейчас соображаю, минутку. — Отец мальчика опустил глаза вниз, разглядывая ботинки, и что-то вспоминая.

Карандаш подошёл к мальчишке и стал осторожно обнюхивать. Мальчик смотрел на него как-то странно. Обычно дети умиляются черной собачке с длинной шерстью и с доброй лохматой мордой. Мальчик же словно испытывал боль от того, что рядом с ним Карандаш. Он не подал никаких сигналов собаке, не присел, не протянул руку, ни присвистнул. И Карандаш отошёл от ребенка, настороженно, немного боком, чуть ли не косясь на мальчика.

— Смотрите, как обстоят дела. — Сказал отец. — Сейчас даже в Саках все авторемонты закрыты. В Симферополе точно работают, но туда еще тридцать пять километров, извините, не повезу. Что я могу предложить - в трёх километрах отсюда есть гарнизон, военный посёлок. В гарнизоне мой хороший знакомый. Золотые руки. Загоним машину на яму, посмотрим. Если вдруг повезёт - починит картер, масло зальёт, и вы на первой передаче сегодня уже в Симферополе будете.

Мальчик совсем скис. Он отвернулся, сунул руки в карманы, опустил плечи и стал носком поддевать стебли лаванды.

— Нам неловко вас с сыном лишать времени.

— Вы про рыбалку? — Удивился мужчина. — Не проблема.

Мальчик посмотрел отцу в спину и нахмурился. Его взгляд остался незамеченным.

— Трос у тебя есть? — Неожиданно мужчина перешёл на ты, обращаясь к Роману. — Зацепим и на нейтралке побуксируем.

— У нас с тормозами проблема. Нам только эвакуатор, наверное, можно.

— А мне по барабану твои тормоза. Ты мою машину видел? У меня фольксавен нормальный, раньше умели делать, он из металла, а бампера из калёного пенопласта - покрасил, и опять новые. Поедем медленно. Чтобы тормозил, буду свой бампер подставлять. Я только сейчас позвоню, момент.

Он достал из кармана телефон, набрал номер и, улыбаясь Роману прямо в глаза, стал ждать. Мальчик нахмурился ещё сильнее. Роману стало неловко за потерянный для мальчика выходной, он отвернулся и спросил жену в полголоса:

— Тебе не холодно?

— Ну, так.

Лора повела плечами.

— Сейчас принесу.

Он залез в палатку, когда услышал:

— Привет, разбудил? ...Извини, старик, по делу. У знакомых машина сломалась. Картер пробили. Глянешь? ...Не-а, надо прямо сейчас. Они возле Долинного сломались. Я тоже тут. Через минут пятнадцать добуксирую. Не в службу?

Роман вернулся к жене, накрыл плечи пледом.

— Без проблем вообще, старик. — Закрыв трубку ладонью и, заговорщецки подмигнув, прошептал: «С вас магарач»

Лора ему кивнула.

— Да, от силы двадцать минут. До связи.

Сунул трубку в карман.

— Ну, всё. Можно ехать. — Он оглядел Романа и Лену внимательно. — Едете?

Лора кивнула. Роману тоже не оставалось ничего другого.

— Тогда пошли вязать машины, — скомандовал мужчина и, не дожидаясь ответа Романа, словно не допуская мысли, что ему можно не подчиниться, повернулся к сыну. — Тоха, пошли. Научу трос вязать.

Мальчик снова нахмурился. Очевидно, ему не нравилось всё это. Роман немного растерялся. С одной стороны он понимал, что Лоре нужно помочь собрать вещи. С другой стороны, его позвал человек, пожертвовавший выходным сына ради незнакомых туристов. Роман обернулся к жене, но та мягко толкнула его в плечо и кивнула, мол, иди к машине, я сама справлюсь.

Двое мужчин, мальчик и собака поднимались к трассе. Карандаш быстро взбежал вверх по склону и оттуда смотрел на хозяина, наклонив голову вбок.

— Красивая собака, — сказал мужчина. — Я такую в детстве по телеку видел, у клоуна какого-то.

Роман не отвечал.

— Ты помнишь этого клоуна?

— Да.

— Как его собаку звали?

— Клякса, — ответил Роман.

— Точно! Чернющая вся. Твоя тоже Клякса?

— Это мальчик. Карандаш.

— Нормально. Почему Карандаш?

— Того клоуна звали Карандаш.

— В его честь что ли?

— Да.

— Нормально. — Повторил мужчина.

Они взобрались на склон. Мужчина присел перед собакой и протянул руку, но та отбежала и села рядом с хозяином.

— А у нас в городе вчера собаку сбили. — Сказал капитан, глядя на Романа снизу вверх. — Какой-то мутила вышел на обгон на пешеходном городе. Мчался километров под сто двадцать. Собаку наполовину раздавил.

Он выпрямился, подтянул камуфляжные штаны.

— Хорошо, это была собака, да? Прямо на переходе, где дети в школу идут. Представляешь?

Капитан смотрел в упор. Роману показалось земля чуть сдвинулась под ногами. И лицо бросило в жар.

— Мы там и знаками всё обвешали и светофор повесили. Зебру красную нарисовали. Звуковые полосы на дорогу наклеили. Всё равно носятся. Уроды.

Коренастый отвернулся и оглядел L200.

— Красивая у тебя машина. Сколько жрёт?

Роман сглотнул сухим ртом и, стараясь не выдать волнения голосом, ответил:

— Пятнадцать.

— Много, — капитан кивнул и двинулся вокруг машины.

— Клиренс конкретный, сантиметров тридцать. Вездеход, а не машина. — Он одобрительно кивал сам себе, осматривая машину, словно собирался её покупать. — На автомате?

— На ручке.

— А чего, денег не хватило? — Усмехнулся коренастый. Роману это не понравилось, но он не нашёлся, что ответить. В ответ только пожал плечами.

— А у меня фолькс старый. Но тоже зверь, я и по полям на нём и через речки, хоть бы хны. Ходовую недавно перебрал. Кузов чуть проржавел, бамперов родных уже нет, из пенопласта калёного сделал. И тебе советую - забудешь думать — поцарапал, покрасил, и готово. У тебя, кстати, тут вмятина, видел?

Мужчина остановился перед радиаторной решеткой и показал пальцем на бампер.

— Об забор что ли затормозить хотел? — Он ухмыльнулся и тут же сменил тему. — Ладно, доставай трос, а я машину пригоню.

Фольксваген тянул большую машину туристов на тросе, натянутом в струну. Старая иномарка глухо урчала на первой передаче, загоняя стрелку тахометра почти в красную зону. Антон, отвернувшись к окну, избегал смотреть на отца.

Всё то время, пока мужчины цепляли трос, а женщина укладывала вещи в джип, Антон сидел недалеко от машин, спиной к людям и смотрел вдаль, туда, где утреннее солнце неспешно заливало фиолетовый лавандовый ковёр. Он многого не понимал из того, чему только что стал свидетелем. Остро он понимал только одно — отец ему нужен целиком. Впервые к нему пришла ревность, взрослое чувство, затапливающее сознание подростка, рождающая злость на тех, кто отбирает единственно важное - внимание отца.

Антон сидел на голой земле, кидая через плечо взгляды на чужих людей, на столичную женщину, которая изображала из себя добрую, но на самом деле была ледышкой из числа тех, кто всегда найдёт, к чему придраться. Она напоминала учительницу по русскому, болеющую (по мнению пацанов в классе) хроническим недотрахом (а раз девчонки авторитетно подтвердили, значит так и есть), стервозность которой ощущалась даже из-за угла. «У этой с трахом проблем нет», — зло думал Антон, разглядывая её тело в достаточно прозрачных одеждах, — «она от природы, как те маленькие лупоглазые собачки на тонких ножках, вечно дрожат и истошно гавкают».

Когда мужчины закончили соединять машины тросом, по рубашке отца расплзались темные капли пота. «Ему интереснее с кем угодно, только не со мной», — злился Антон, чувствуя, как слёзы подбираются к глазам, — «вот и вцепился в первую возможность нарушить обещание». Он держался, чтобы не заплакать, в душе щемило от боли, которая только разжигалась откуда-то возникшей злобой на приезжих (и даже на их собаку), ещё не понимая в свои одиннадцать, что всегда проще винить кого-то чужого, чем близкого человека.

«Турист любит свою собаку», — отмечал он той частью сознания, что оставалась незатуманена болью и злостью. То, что собака считает своим хозяином именно мужчину, а не его жену — не надо быть кинологом, — вон, сидит черный комочек рядом с мужчиной и внимательно следит за каждым его движением, меньше Даны раза в три, а голову наклоняет одним ухом вверх точно как и... Антон не удержал набежавшие слёзы, быстро отвернулся и незаметно смахнул их с лица.

— Ты их обманул? — Спросил наконец Антон.

Отец поглядывал в зеркало заднего вида и молчал.

— Про телефон. Ты их обманул? — Повторил после затянувшегося молчания.

Отец снова долго не отвечал, Антон решил, что уже и не ответит. Как вдруг сказал непонятное:

— Говорят, делай что должен, и будь, что будет. Я много раз проверил это на себе. Это правда.

Отец сделал паузу, словно давал Антону время подготовиться к долгому разговору.

— Когда я оказываюсь в трудной ситуации, я не задаю лишних вопросов, никакой ерунды вроде: «а как же правильно?» или «что скажут другие?» Я делаю, что должен — это и есть самое правильное решение.

Антон нахмурился, не понимая, как это отвечает на его вопрос.

— Это и есть самое стоящее решение, — кивнул отец, подтверждая свои слова.
— Вчера ты поступил как должно, когда пошёл драться. Это мужской поступок, ты запомнишь его на всю жизнь и будешь гордиться.

— А потом ты предал друга. — Вдруг сказал отец и замолчал.

Антон вспомнил обезумевшую от боли Дану, её глаза, вытаращенные с такой силой, что виднелись белки.

— Ты трусил. И делать то, что должно, мне пришлось одному.

Антон увидел, как кровь тяжёлой каплей падает с отцовской руки, сжимающей пистолет. Голова собаки ударилась об землю, кровь разлетелась веером под большой белой мордой.

— И это ты тоже запомнишь. Я хочу, чтобы тебе было стыдно об этом вспоминать всю твою жизнь.

Антон сглотнул и сжал губы.

— Что бы ты сделал, если бы Дану зарезал Глыба? Что ты должен был сделать? — Отец сделал акцент на слове «должен».

Антон молчал. Отец быстро глянул на него и снова вернулся к дороге.

— Ты не знаешь или не хочешь отвечать? Я верю в две вещи — в судьбу и справедливость. Не просто так мы здесь. Я же на Донузлав думал ехать, и только сегодня словно повело меня сюда. И эти люди именно здесь сломались не просто так. Значит, есть судьба. Или бог, я уж не знаю, во что ты там веришь. Не увидеть это может только дурак. Я, вот, вижу.

— И когда я вижу, — продолжил отец после недолгого молчания, — я не задаю себе вопросов, я принимаю решение. Будь я на твоём месте, я знаю, что сделал бы с Глыбой. Я бы выбил ему все зубы и отбил яйца, чтобы он и думать забыл о будущих детях. Я бы из его лица сделал сырой стейк. Я бы сделал это. Ты понимаешь? Почему ты молчишь? Почему ты жмёшь плечами? Не понимаешь или не знаешь что сказать?

— И то и другое. — Выдавил из себя Антон.

— А если я скажу, что вот эти, — отец ткнул большим пальцем себе за плечо, — убили твою собаку? Сбили, переехали, раздавили и бросили подыхать посреди дороги в луже крови и говна? Что ты на это мне скажешь? Тоже плечами пожмёшь? Или ты проснёшься, наконец и станешь мужиком?! Что ты сопли везде развешиваешь?! Сидел там, сопли жевал, слёзы вытирал. Здесь сидишь, на меня не смотришь, в молчанку играешь. На рыбалку не поехал — это твоя самая большая проблема в жизни? Это твоя проблема?!

Отец заводился. Антон затаил дыхание, боясь что-то сказать, чтобы не распалить отца ещё больше. Он был зол и каждым словом накручивал себя ещё больше. Он нёс какой-то бред. Это же бред, что именно эти люди сбили Дану, так в жизни не бывает.

— Отвечай! — Отец ударил по рулю.

Антон вздрогнул, словно ему влепили пощёчину. Мысли, все какие были, разом исчезли, уступив место страху. Он на автоматизме выпалил:

— Что?

— Блядь! — В одном слове слились и разочарование и презрение. — Ты слышал, что я сказал. Дану сбили эти двое. Что ты собираешься сделать?

— Не знаю, — промямлил Антон.

— А я знаю! — Сказал отец, делая ударение на слове «я». — Я, блядь, знаю!

Он держал трубку возле уха и заторможенно моргал, слушая, как на другом конце начальник райотдела повторял «алло... ты слышишь... алло...». Вжал пальцем кнопку «отбой» и слепо смотрел в угасающий экран телефона. В горле стоял ком. Нину сбили. Насмерть...

Она была белой. С кожей на лице тонкой, прозрачной, как пергамент, и холодной. Лежит в гвоздиках, мёртвая. Живая терпеть не могла гвоздик, говорила, они напоминают о похоронах и коммунистических парадах. «Нанесли», — подумал он и оглядел женщин — «плачут...»

Она не должна была умереть. Мотороллер не может сбить насмерть. Она была бы жива, если бы не отлетела к сложенному возле обочины ракушняку и арматуре. Сказали, умерла быстро. Пробила затылок, скончалась в судорогах.

Он вспоминал об этом, представляя, как её тело выгибается, как ноги сучат по земле, и туфля слетает с ноги. Он подобрал с земли эту туфлю, когда приехал, автоматически сунул в карман и забыл. Так и ходил, не замечая каблука, торчащего из брюк. Он поймёт, что что-то давит в ногу через несколько часов, когда тело увезут в холодильник местной больницы. Он вытащит туфлю, уставится на неё, не понимая, как она оказалась в кармане. Увидит на стельке потёртости, где её пятка и пальцы оставили следы. Слезы подступят к глазам. Он поднесёт туфлю к лицу, прижмётся носом и сделает глубокий вдох, пытаясь ощутить запах её кожи. Простоит так минуту, потом утрёт слёзы и сунет туфлю назад в карман.

Он смотрел, как женщины обходят гроб, как укладывают новые цветки с узловатыми стеблями и черными лентами. Она не должна быть здесь. Это нелепо. Невозможно. Они же собирались в отпуск, они же купили для Нины шляпу с большими полями. Почему она теперь лежит белая? Он оглядывал этих женщин, этих старух, утирающих мокрые морщинистые лица. Ему хотелось орать, что-то разбить, кого-то ударить. Чтобы хоть немного стало легче. Но всё, что он мог - это дышать, с силой проталкивать воздух через нос и держаться. Скоро приедет поп. Скоро я тебя похороню. Он опустил глаза вниз, на белую пергаментную кожу...

Выродка нашли быстро. С мозгами полный беспорядок. Может быть в Симферополе у него и были бы шансы спрятаться, но не в этом городе. Свидетели видели, старухи, торговавшие в придорожных рядах, показали, кто это. Вечером его уже нашли, безмятежно спящим в сарае своего дома. Им оказался Егор Галыбин, героиновый наркоман со стажем, отец двух детей, которые через четыре года станут причиной смерти большой белой собаки.

Тем же вечером его отправили в Евпаторию, видимо, понимая, что сохранить ему жизнь, если он будет находится в Саках, не смогут. Достать выродка в Евпатории оказалось невозможно. Туда были ходы, но при всем уважении, доступа к арестованному не дали ни разу. Даже пяти минут. Их можно понять, но делать этого он не собирался. Он не мог поверить, что ублюдок, который должен был сдохнуть ещё в камере предварительного заключения, всё ещё жив. Жив и ждёт суда.

Дело длилось полгода. Наказание прозвучало в здании суда в полной тишине. Семь лет — столько стоит жизнь Нины. Это всё. Через семь лет урод вернётся в город, возьмёт мотороллер и поедет по той же улице, на которую Нина уже никогда не выйдет. «Семь лет», — думал он, и смотрел, как выродка выводят из зала суда. Он провожал его глазами, ощущая, как зубы болят от той силы, с которой он их стискивал. «Семь лет». Правосудие. Твою мать.

В тот же вечер он напился. Ресторан, в который пришёл он и его друзья, имел главное здание и зимние отапливаемые деревянные домики. Они сидели в таком домике, пили, он тоже пил, заедал корейской капустой, иногда кидал в рот куски

лаваша. К мясу в своей тарелке так и не притронулся. Пил, пьянел, смотрел в бокал в поисках ответа. Идея появилась в голове, как пьяная глупость. Но каждая новая порция коньяка оттачивала идею, придавала ей блеск и сглаживала острые края, как кафельный квадратик превращается в море в белый кругляш. К ночи он напился, язык еле ворочался во рту, а ноги гудели и не могли двигаться, но голова казалась трезвой, а ум острым. Его вели домой, он спотыкался, но цепко держал в голове свою идею. Он понимал, что сделает завтра. Что он должен делать.

Теперь он точно знал: если он не может достать Галыбина, то достать таких же, как Галыбин, ни разу не проблема. Всех по одному. А потом... Семь лет когда-нибудь закончатся... И если правду говорят, что месть - это блюдо, и правда то, что это блюдо надо подавать холодным, то за семь лет блюдо для Галыбы всяко сварится и очень хорошо остудится. Так что, если у Галыбина не все мозги поплавились от наркоты, лучше бы ему получить ещё один срок, не выходя из зоны.

Егор Галыбин, шестнадцати лет отроду, подросток из трудной семьи, определённый в Евпаторийский интернат в возрасте тринадцати лет за систематическое нарушение дисциплины и частые ЧП с травмированием учеников среднеобразовательной школы, не считал себя плохим человеком. Хорошим, впрочем, тоже. Зачем думать о пустом?

«Пустое» — теперь он всё чаще говорил именно так вместо некогда любимого «херня», хотя, конечно же, нормальные пацаны в большом мире так не говорят, но здесь, в этом грёбаном маленьком мирке долбаного интерната самым нормальным пацаном считался он, и пусть только кто-то попытается это оспорить — выйдет как с волком в том мультике «Про Самого Слабого».

«Пустое», как ржавый гвоздь в старом штакетнике, засело в его голове помимо воли, когда эта тупая манда с колтуном на макушке, Маргарита Сергеевна, заставила его на литературе читать вслух перед всем классом отрывок из какого-то грёбаного рассказа. Что за рассказ и кто его написал, Егор не запомнил, как не запомнил и того, о чём читал, словно то не он читал вслух, а автомат воспроизводил сфотографированные с листа буквы. Но это грёбаное слово въелось в его мозг, наверное потому, что эта старая сука с колтуном на старой крашеной голове его вдруг остановила и спросила: «Галыбин, как ты понимаешь в этом предложении слово «пустое»?

Он никак не понимал, он даже не помнил, как только что произнёс его вслух, мысленно пребывая где-то за стенами класса, а если точнее, под юбкой учившейся в параллельном выпускном классе Кузьминой Юльки, в районе её трусов, недвусмысленно давшей понять, что вечером таки по-нормальному «даст». По-нормальному - это не быстрый отсос, это, слава божьим яйцам (если, конечно они у бога есть, в чём Егор вообще-то сомневался) будет нормальный трах. И если у бога яиц нет, то у Егора они были точно — именно они сейчас звенели, распираемые от напряжения (уломалась, шалавка, сникерс делает чудеса!), какое создаётся внутри резинового мяча, когда в него накачивают воздуха больше, чем он способен вместить. Так что единственное, что Егор мог ответить Колтунше, было невнятное: «Чего-чего?»

— Не «чего», а «что». — Резко ответила Маргарита Сергеевна. — В этом предложении, ребята, слово «пустое» означает не пустоту, не отсутствие чего-либо, как например отсутствие мыслей в голове некоторых учеников (она при этом развернулась и уставилась на Егора). Здесь оно подчёркивает незначительность помыслов главного героя романа, приземлённость, если можно так выразиться — ерундовость. «Пустой человек», вот как о нём скажет позже героиня. И будет права потому что...

Дальше Егор не слушал. До него вдруг дошло, почему на словах «отсутствие мыслей» Колтунша посмотрела именно на него. Вместе с пониманием он ощутил, как приятное томление между ног исчезает, словно изливается через открученный там краник, а потом снова возникает в нём, но уже в районе головы — ничуть не похожее на прежнюю приятную тяжесть — оно застучало в висках, а лицо залилось краской от стыда за собственное унижение, а ещё от гнева на эту крашеную суку с дебильным колтуном на башке. Он озирнулся, ему показалось, что одноклассники под его взглядом поспешили спрятать улыбки — кривые лыбы, означающие только одно — училкин намёк поняли все, и даже раньше, чем он сам, и теперь они давятся смехом, в душе ржут над ним, стараясь спрятать насмешки за опущенными к партам лицами. Ещё бы они не прятали. Урою!

Егор выстрелил в спину Колтунши взглядом, полным ненависти, незаметно для себя запоминая значение слова «пустое», и вдруг скрутил крепкий шиш — сжал кулак так туго, что аж хрустнули костяшки, а большой палец пролез между указательным и средним далеко вперед. Он выбросил руку прямо, как гитлеровцы в знаменитом «Хайль!» и потряс дулей, целясь Колтунше в затылок. Фаланга большого пальца, зажатая между соседними, совершала движения вверх-вниз, а Егор, сощурившись и почти оскалившись, мысленно кричал училке в спину: «Отсоси, старая сука! На, соси!»

Кто-то прыснул, и прежде, чем Колтунша успела обернуться на смех, Галыба успел спрятать шиш под парту, злой на училку, но мысль о десерте, который он получит вечером его будоражила больше, чем злость за унижение на уроке: будоражила сексуально, а потому успокаивала, примиряя с той несправедливостью, которая слишком часто (по его мнению) сваливалась на голову шестнадцатилетнего парня.

Галыба вышел из класса и никого не тронул, не пихнул, не дал поджопника. В коридоре его поджидали два кореша из юлькиного класса, к которым он и направился — Стояк и Леший, чьи кровати в спальне находились по одну и другую сторону от кровати Галыбы, вместе занимая все три окна в комнате. А через пять минут кореша смотрели на Галыбу с недоверием и радостью одновременно, словно тот им поведал что-то удивительное, вроде «Земля не круглая, а стоит на огромном члене, воткнутом в не менее огромную манду». Стояк и Леший радостно переглянулись и стали лупцевать один другого в плечо, а когда Колтунша вышла из класса, прекратили и подошли вплотную к Галыбе, не придавая значения тому, что со стороны выглядят щенками, что жмутся к материнскому боку при виде опасности. Проходя мимо них, до её слуха донеслась невинная фраза «В натуре, что ли, даст?», которой учитель не придавала значения, лишь только бросила на мальчиков строгий взгляд из-под спущенных на нос очков.

Галыбин не считал себя ни хорошим, ни плохим, даже не догадываясь, что задумываться о том, кто ты есть и какой ты есть, возможно лишь, сравнивая себя с кем-то, кто был бы ещё хуже или наоборот лучше. Отличников он презирал, называя из зубрилами или жополизами, а парней круче себя в интернате он не знал. Стояк и Леший были те ещё придурки, но если б не они, тогда вообще швах. Леший, лохматая оторва, как называл его Галыба, был высоким, немного выше Галыбы, но худой, ключицы выпирали над майками, а если Леший лежал, то сквозь майку, повторяющей контуры его тщедушного тела, можно было пересчитать его ребра все до одного. Про таких говорят, худой, но жилистый, но этой взрослой присказки Галыба не знал, а знал другое — Леший может взбелениться и тогда лучше отступить на шаг назад, если только приступ ярости Лешего не зарится на авторитет Галыбы. А такая подстава случилась только раз и тогда Егор конкретно врезал Лешему, отчего тот завыл и убежал в туалет, придерживая нос ладонями, а между пальцем струилась кровавая юшка.

Стояк много жрал. Даже не в том дело, что много, а жадно, словно не ел до этого несколько дней. Он чавкал, и если пытался говорить, еду было видно внутри его рта. Леший не раз ржал над Стояком, когда у того от разговоров изо рта выпадали крошки. Но прозвище он получил не за жрачку, а за долгий утренний стояк, с которым он не мог ничего сделать. Он последним вылезал из кровати, дожидаясь, пока остальные разбредутся по туалетам, неизменным спутником его был писюн, выпирающий из трусов и шевствующий впереди, как перст, завёрнутый в тряпку. Утренняя эрекция иногда давала ему выходной, если накануне ночью ему снилось что-то очень уж яркое, вроде училки по физкультуре в натянутых на лобке спортивных штанах, отчего он, не до конца проснувшись, яростно теребил член среди ночи, пока трусы не становились липкими, а сон не накрывал его обессиленный от быстрой дочки разум.

Такие были друзья у Галыбина, и если есть зерно истины в бородатом «скажи мне, кто твой друг», тогда Галыбину было бы лучше на такой вопрос никому честно не отвечать. Несмотря на всё это, Галыбин не считал себя плохим ни в этот год, ни в другой, через много лет, когда закатив дозу в вену и дунув дури, сядет на мотороллер, но не проедет и половины пути (куда он ехал, кстати, он так и не вспомнит никогда), собьёт на пешеходном переходе молодую женщину и не заметит этого, а если что-то и заметит, то спишет на действие дури.

Он-то спишет, но муж сбитой женщины — нет.

Чтобы попасть в гарнизон, нужно вернуться к Сакам. Когда папа поехал в противоположную сторону, Антон удивился, но привычка не задавать отцу вопросы не дала ему раскрыть рот. Они проехали насквозь Долинное с пустующими в это время торговыми лотками. Не доезжая следующего села, съехали с трассы и по просёлочной дороге поехали на восток.

Двигались через заброшенные поля, тут и там из земли торчала порода, где скала, а где ракушечник. Жёлтая песчаная пыль, которой в этом краю Крыма было в избытке, поднималась в неподвижный воздух. На горизонте вырастали скалистые холмы,

покрытые жухлой травой. Вдалеке по правую руку виднелись машины и механизмы, там же стояли низкие строения, напоминавшие строительные вагончики, и где-то там, Антон это знал точно из уроков природоведения, находились действующие карьеры, в которых разрабатывают месторождения ракушечника: нарезают грунт на жёлтые пористые кирпичи, похожие на буханки дрожжевого хлеба, там же их складывают, а потом вывозят оттуда тяжёлыми большущими самосвалами к ближайшему пункту сбора, откуда крымский ракушечник расходится по всей юго-западной Украине.

Техника осталась далеко за спиной. Насколько Антон мог судить, отец вёл машину к старому карьёру, лет десять как затопленному — нарезанные перевёрнутой пирамидой берега, по которым когда-то умудрялась спускаться тяжеленная техника, а сейчас их облизывает прозрачная вода.

История, связанная с этим карьером, звучала неправдоподобно. Как могло случиться, что начиная разработку месторождения ракушечника, строительная компания не «прощупала», или, не знаю, не прозондировала грунт? Как можно было не обнаружить пустоты, самые настоящие карстовые пустоты, заполненные подземными водами? Верилось в это с трудом даже подросткам, слушая военрука на ОБЖ. Но другой-то версии не было, а вот пролом в земле был, и это был реальный факт.

Пролом не появился внезапно. Углубляясь вниз, нарезаая грунт всё ниже и ниже, то тут, то там появлялись источники, родники с чистой и вкусной водой, одни били сильно, другие чуть сочились, но к началу каждого нового рабочего дня на дне карьера появлялось озерцо глубиной по щиколотку взрослому человеку. Сначала, пока вода не мешала механизмам, её не трогали, но позже воду стали выкачивать со дна, а разработку месторождения не прекратили. С каждым метром вниз родников становилось больше. И в этом месте дети, слушающие эту историю не первый раз (а её рассказывали из года в год, и тому была причина), недоуменно задавали военруку один и тот же вопрос: «Как строители, то есть специально обученные люди, геодезисты, могли не понять, что происходит?». Военрук не мог внятно ответить за строителей, да у него и цель была другая.

Однажды, после конца рабочей смены, когда механизмы, нарезающие грунт на ровные куски, перестали клацать челюстями и гудеть, а в воздухе всё ещё стояла плотная жёлтая пыль, дно карьера прогнулось. Так проседает песок в песочных часах. Плотный грунт, который выдерживал тяжеленную технику, словно просыпался куда-то к ядру земли, образуя воронку. Через четверть часа воронка выросла и в ней появился глаз, сначала пустой, а потом оттуда в карьер ринулась вода. В какой-то момент, когда вкусная и чистая вода уже наполовину заполнила собой карьер, кто-то словно отломил кусок грунта, образующий глаз воронки (так же легко, как ребенок ломает шоколадное яйцо), за первым куском внутрь ушёл второй кусок, глаз воронки расширился, а вскоре уже был похож на пролом, где с невероятной легкостью исчезли тяжёлые аккумуляторы для циркулярной пилы и съёмные дизельные кожухи, оставленные на дне карьера.

Вода выходила из пролома под сильным давлением, но когда она вышла из берегов и разлилась вокруг бывшего карьера, образовав новое озеро, успокоилась, видимо обретя

какой-то ей одной подходящий баланс. Закон сообщающихся сосудов, думал Антон, но уверен до конца в этой гипотезе не был.

На утро рабочие не смогли даже подойти к технике, за одну ночь строительная компания потеряла и её, и разработанный карьер и деньги. Уже позже карьеры разрабатывались по уму, видимо пригласили нужных специалистов, те показали пальцем, где разрабатывать ракушняк можно, и вскорости (совсем недалеко от первого проклятого карьера) в земле появились карьер-2 и карьер-3.

Позже вода отступит, но не намного. На долгие годы карьер останется затопленным полностью, и будет привлекать к себе туристов в качестве достопримечательности.

Эта история не волновала бы никого из детей, если бы военрук на этом и заканчивал. Но нет же. Ежегодно он своим нудным голосом, спустив очки на кончик носа, зачитывал с листа статистику смертей и называл количество людей, считающихся пропавшими без вести, но которых в последний раз видели возле карьера... По-простому, утопленников.

Все знали, что выныривает здесь людей меньше, чем заныривает, но всё равно каждый год находились отчаянные смельчаки, которых привлекает дешёвая возможность почувствовать себя дайверами, которые хотели выплыть, небрежно выйти из воды и с гордым апломбом сказать: «На дне, приколитесь, ещё стоят бурильные аппараты, а кольцевые пилы, как новенькие», и это несмотря на то, что в каждом классе каждый год на ОБЖ вдалбливают: «В старом карьере ни нырять, ни плавать! Утонете, ваши тела даже похоронить не смогут».

Антон там не плавал ни разу, благоразумно считая: «Не хочешь утонуть, не опускай туда и мизинца», впрочем таким образом он относился не только к плаванию в запретном карьере. Однажды их привезли сюда на экскурсию и показали, с какой скоростью палка, брошенная в двух метрах от берега исчезла с поверхности — деревянная палка, которую Бог наградил куда лучшим умением держаться на воде, чем человека. Палка исчезла и больше не появилась. «Она уже в проломе, а что вы хотите» — сказал военрук.

Тогда Антона поразила тишина, накрывающая это место, и вода, которую он себе представлял ровной, как зеркало, а на самом деле она дрожала в десятке мест сразу и если приметить одно такое место и смотреть на него какое-то время не отрываясь, то потом с удивлением обнаруживаешь, что смотришь совсем в другое место — не в то, что раньше. «Эти зоны двигаются из-за силы подводных ручьёв, — говорил военрук. — Очень опасное место». Антон не имел оснований военруку не верить. Антон хорошо запомнил, что случилось с палкой. Лучше он помнил только своё имя.

Скалистые холмы, подсвеченные солнцем, приближались и казались почти волшебными. Вскоре проехали вкопанную в землю палку с металлическим листом на конце. Лист выкрашен в жёлтый цвет, черными буквами поверх написано «Купание строго запрещено».

Они приближались к огромной дыре в земле, заполненной до краёв водой. Машины двигались медленно, раскачиваясь и подпрыгивая на кочковатой дороге, пыль из-

под колёс поднималась в неподвижный воздух и медленно летела вдогонку машинам, увлекаемая большим джипом.

Отец объехал карьер по кромке, подъехал к дальнему краю и там, подталкиваемый сзади джипом, остановился. Заглушил мотор. Вытащил ключ из замка зажигания, сунул в брюки. Извлёк оттуда кастет. Настоящий кастет. Тяжелый металл, дырки для пальцев, острые рёбра. Медленно расширяющимися глазами Антон смотрел, как отец надевает кастет на руку.

— Сиди здесь. — Приказал отец и, толкнув дверь, оказался снаружи.

Роман почувствовал, как машина последний раз стукнулась об бампер фольксвагена и остановилась. Он выключил двигатель. Тишина. Поднятые стёкла глушили все звуки, но Роману показалось, что открой дверь и даже тогда не услышит ни единого звука. Посмотрел на жену, на лице Лоры явственно читалось недоумение. Она огляделась вокруг, разглядывая местность сквозь оседающую вокруг бортов пыль. Никаких признаков посёлка, никаких домов даже в отдалении, только вырытая в земле пирамида, заполненная водой. Солнце ещё не поднялось настолько, чтобы отражаться в воде, поэтому вода казалась тёмной как нефть.

В фольксвагене открылась дверь. Рома тоже открыл свою, вышел наружу. Так и есть - никаких звуков, ни птиц, ни стрёкота насекомых.

— А мы где? — Спросил Роман приближающегося милиционера.

И в этот момент что-то тяжелое взлетело перед его лицом, и Роман вдруг рухнул, не понимая, что случилось, и как он очутился лицом на земле, и тут же поймал животом ещё один удар. Солнечное сплетение взорвалось, как взрываются бомбы в фантастических фильмах - из слепящего ядра боль брызнула во все стороны. Закатывая глаза он сквозь ватную пелену слышал, как Карандаш захлёбывается лаем из машины. Услышал, как хлопнула пассажирская дверца и услышал хруст камней под шлёпками. Перевернулся на спину, всё ещё парализованный этой страшной болью и смог только выдавить изо рта еле слышное и что-то совершенно нечленораздельное. Шаги приближались, а потом раздался испуганный женский визг в тот самый миг, когда ботинок (огромный запылённый ботинок с толстой подошвой) вылетел из пыльного облака, засвеченного солнцем и врезался Роману в висок. Мир вокруг выключился, словно картинка исчезла с экрана старого телевизора.

«А мы где?» — Услышал Антон голос туриста.

Он выскочил из машины в тот момент, когда отец, вложив недюжинную силу в кулак, врезал туристу в лицо. Кровавые брызги разлетелись веером, турист рухнул к ногам отца и тут же получил ногой в живот.

— О, боже! О, боже! — Закричала туристка.

Размахнувшись ещё раз, отец врезал тяжелым ботинком туристу в голову, она подскочила на шее, как футбольный мяч, и шмякнулась на землю.

Женщина подбежала к отцу слишком близко, Антон даже замер от предчувствия, но отец позволил ей себя отпихнуть обеими руками. Она упала на колени рядом с неподвижным телом и несколько секунд молчала, как будто боялась прикоснуться к окровавленной голове. От бессилия вскинула голову и заорала:

— Ты что!? Ты что наделал, скотина?

В горле мальчика пересохло. Страх облепил липкой плёнкой, в голове вдруг загудело, как в трансформаторной будке. Сквозь гул и удары своего же сердца до него доносились крики женщины и собачий лай. В такт ударам в голове пульсировало слово, словно окрашенное красным цветом: «Убил? Убил?»

Отец присел и вытер кастет об белые шорты туриста.

— Что ты сделал, скотина? — Как заводная продолжала она, едва касаясь разорванной щеки мужа.

Отец сунул кастет в нагрудный карман, схватил шорты за край и стер кровь со своего ботинка.

— Не молчи, урод!! — Она вдруг заорала и кинулась с кулаками, но отец перехватил её руки и отпихнул от себя. Она упала, ободрала руки об каменную крошку и то ли от боли, то ли от наконец пришедшего к ней страха, враз притихшим голосом спросила:

— Зачем? За что?

Отец встал с колен, отряхнул пыль с ладоней.

— Четыре года назад на пешеходном переходе обдолбанный героином урод сбил мотоциклом мою жену. Она умерла, а ему дали всего семь лет.

Женщина с полным непониманием смотрела на отца снизу вверх, прижимая ободранную руку к животу. Ткань её блузки прокрашивалась кровью.

— А это мой сын. Вчера другой урод сбил машиной его собаку, оставил её подыхать в луже своего же говна и уехал.

Женщина замерла.

— А собаку мальчику подарила мать. Ближе той собаки у парня никого нет. Мне пришлось собаку пристрелить, потому что сама она никак не подыхала, хоть и залила свой кровью две полосы. А мальчик на это смотрел. Ты понимаешь? Я говорю об этом ребенке.

Отец указал пальцем на Антона.

— Ну, что ты не смотришь?

— А теперь я расскажу кто такие — вы. Вы - та мразь, что проносится на джипах через мой город и сбивает женщин и собак. Вы такие же, как тот конченный наркоман, только его мозг пропитан ширевом, а ваш отравлен собственной значимостью. Самоуверенность просто сочтется из вас, как дерьмо из переполненной выгребной ямы. Вы столичные жители, у вас связи, у вас деньги, вам легче откупиться, чем попросить прощения у мальчика. И даже откупаться вам не обязательно, если быстро уехать на своей дорогой машине. Да?

Женщина опустила голову, спрятав лицо за свисающие со лба пряди.

— Но вдруг ваша супер-машина ломается. А мы с сыном случайно проезжаем мимо. Кто-то скажет, совпадение, но только не я. Вы сбежали, но судьба нас всё равно свела. Ты знаешь, зачем? Я знаю. — Отец помолчал, давая женщине обдумать его слова. — Чтобы вы ответили за преступление. И у меня к тебе, женщина, только один вопрос. Кто?

Она не поднимала головы. Прижимала руки к животу, словно баюкала ребенка на коленях.

— Ну, что молчишь? Ты из тех сук, которые считают, что любой мужчина тебе что-то должен, потому что ты - женщина. Точно? Ты из этих? Поэтому и спрашивать нечего? Ты ответишь, что все проблемы должен решать муж? Он мужчина, а ты слабая... — Отец помолчал, разглядывая женщину, и стал добавлять, словно зачитывал список — стервозная, истеричная, претенциозная, надменная, сухая, напыщенная? — Он снова помолчал, и после паузы закончил, — я все твои качества назвал или что-то забыл? Ты из таких, да?

Женщина подняла лицо и посмотрела на отца обречённым и одновременно яростным взглядом, словно принимала вызов.

— Но я с тобой согласен в одном. — Продолжил отец. — Отвечать за всё должен мужик. Поэтому твоя судьба ясная — ты попросишь прощения у мальчика, сядешь в машину и будешь там молчать, пока всё не кончится. Ты поняла?

Туристка исподлобья смотрела на отца. Её лицо, с растёкшейся под глазами тушью, заострилось и стало похоже на морду маленькой гавкучей собаки.

— Я не слышу. — Отчётливо сказал отец.

— Чтоб ты сдох, скотина. — Выплюнула она. — Теперь слышишь?

Турист шевельнулся и застонал, приходя в себя. Женщина медленно перевела взгляд, полный ненависти и презрения, с отца на своего мужа. Тот разлепил залитые кровью глаза, сплюнул в песок зубы во вспененной красным слюне. Капли крови, попав на землю, свернулись в черные пыльные катышки, а основной плевок подобрался в пыли, как улитка подтягивает своё тело в раковину, если её ткнуть пальцем...

Роман кое-как поднялся на колени. За плотно сжатыми веками в такт ударам сердца вспыхивали яркие огни. Его крепко мутило, боль прилиwała к вискам, точно громадные волны обрушивались на него захваченными со дна валунами.

Открыв глаза, Роман медленно поднял голову. От простого движения мир заколыхался и поплыл вбок, увлекая за собой. Роман почти повалился, когда в памяти снова вспыхнуло воспоминание о чёрно-зелёных кафельных плитках, но не исчезло, как вчера, а сумело таки прорваться сквозь толстые наслоения памяти и выстрелило в него зловонным фонтаном, точно гной, который всегда находит путь наружу сквозь до предела натянутую стенку кожи. От нахлынувших образов, которые умело прятались в подсознании почти пятнадцать лет, Романа скрутило, и он выблевал всю съеденную утром еду.

Он остался на коленях с распахнутыми от удивления глазами, не в силах пошевелиться, пытаясь не осознать, нет - хотя бы вместить в себя то, что подсунула ему память. Одной рукой он опирался о землю, а другой прикасался к разбитому рту, не ощущая, как сквозь пальцы текут слюны, пузырясь и переливаясь на нежарком утреннем солнце. Воспоминания появлялись в сознании сцена за сценой, как настоящее кино в темном и пустом зале кинотеатра на предпремьерном просмотре для избранных. Рома точно избранный оказался на жёстком скрипучем стуле, в темном и сыром зале ветхого кинотеатра, воняющего мочой и хлоркой, а с экрана на него смотрели герои напроцёх забытой истории. Истории, от которой детское сознание открестилось, как от того, что случиться не должно было, а случившись - обязано было быть забытым навсегда.

Он тщетно пытался совладать с нахлынувшими воспоминаниями, пытаясь не пустить их в себя, забыть ещё раз. Но образы прошлого складывались в мрачное кино, в фильм ужасов, который оказался двухсерийным, и вторая серия, ужас, транслируется ему в жизнь прямо сейчас, здесь, в затопленном богом карьере.

Злая Воля опять ворвалась в жизнь. Вихрем порвала щёки, выбила зубы и, кажется, переломала кости лица. Чужая и Неукротимая, с которой опять не совладать, не укрыться, нависает над тобой в обличье незнакомого человека. Но больше он не казался Роману незнакомым. Тень, молчаливая и устрашающая, удивительным образом напоминала тень Галыбы — пятнадцатилетнего (почти шестнадцатилетнего) уродца, именно того Галыбина, которые вместе с пацанами заловили Романа в туалете, когда тому было десять.

И только теперь Роме ясно, отчего сознание десятилетнего ребенка крепко постаралось замалевать эти воспоминания, понял почему в те моменты взрослой жизни, когда приходилось отстаивать мнения перед идущими напролом, сквозь белый цвет беспомысленности просачивался черно-зелёный цвет, и не к месту вспоминались кафельные плитки. Только сейчас, утирая кровь в разбитых губ, он вспомнил всё.

«Чики-брики, пальчик выкинь!», — внутри его головы произнёс голос Галыбы, такой четкий, словно это именно Галыба возвышается над ним в утреннем солнце. «Он вернулся, как обещал», — от этой простой мысли тело стало ватным, а между ног вдруг разлилось горячее озеро.

В считанные секунды, толком не придя в себя после ударов кастетом, Роман оказался сокрушён и раздавлен, как он считал, чужой неукротимой волей, и только слова, тхнувшие хлоркой, бились в его сознании: «Чики-брики!»

— Чики-брики, пальчик выкинь. Чики-брики. Пальчик выкинь.

Добрая считалочка в устах Галыбы звучала, как приговор к смерти. Каждое слово он выплёвывал со злостью, которую едва сдерживал в себе. Он выламывал Роме большой палец, выгнув кисть к предплечью. Кричать Рома не мог, рот закрывала ладонь Стояка, он мычал и толкался в неё языком, ощущая солёный мерзкий пот и слушая на собой хохот. Прямо перед собой Рома видел глаза Галыбы, а в них плескалась ярость.

— Чики! Брики! Пальчик! Выкинь! Ты мне должен теперь, сука малая. Ты. Мне. Должен!

Галыба резко выгнул палец, Рома заорал под ладонью, и крик вышел бы нечеловеческий, если бы не ладонь. Не соображая, что делает, Рома впился в ладонь Стояка зубами и сжал их, ощущая бесконечную, как ночное небо, боль в своём пальце, вывернутом под неестественным углом.

Стояк заорал матом и, тот час отпихнув от себя пацана, присел, словно срочно захотел помочиться. Он зажал прокушенную ладонь между ног, лицо надулось, словно кто-то вставил ему в рот велосипедный насос и хорошенько вдул. Рома этого не видел. Он отлетел к дальней стене туалета и рухнул там, чудом избежав удара головой об подоконник. Он лежал лицом на холодном полу, перед глазами маячили черно-зелёные кафельные плитки, а прямо под носом благоухала рассыпанная по периметру туалета хлорка.

«Надо же быть таким дураком? Надо же быть таким любопытным, неосторожным дураком? Чики-брики, пальчик выкинь» — думал Рома, вдыхая запах и чувствуя, как волны боли докатываются от вывернутого пальца к горлу, рождая в нём спазмы тошноты.

Он попался по своей же глупости. Сидя в камере, услышал, как в амальгамную комнату вошёл Галыба и какая-то девчонка. Он удивился: девчонка здесь? Но удивился не сильно, гораздо удивительнее было то, что Стояк и Леший разом смолкли, а девчонка (знакомый голос, точно страшекласница), что-то стала ворковать. Если бы она говорила естественным голосом, Рома бы всё услышал на месте, ему не пришлось бы вставать и вслушиваться, неосторожно приближаясь к колонне из вёдер. Но девчонка говорила противным слащавым голосом, на ум почему-то пришло кошачье мурлыканье, но этот голос не обладал мелодичностью кошки, а был наполнен манерностью. Девчонка попросту выделялась.

Рома приблизился к двери камеры, прижался к ней ухом, едва не задев плечом ведёрную колонну. Потом переместился к стене, разделяющей его комнату и амальгамную — так слышно чуть лучше. Девчонка говорила что-то про шоколадные

батончики, который Роме довелось попробовать только однажды на последней Масленице этой весной. Учитель английского ещё сказала, что в переводе на русский шоколадка называется «Кроссовки». Вкусная штука, вкуснее тетимашинных пирогов, только об этом тёте Маше он никогда бы не признался, обидеть правдой легко, а какой смысл? Да и сравнивать абрикосовый пирог с иностранной шоколадкой, всё равно что пытаться сравнивать Аллу Пугачёву с Татьяной Веденеевой — одна красиво поёт, другая показывает мультики - кому в голову может прийти их сравнивать?

Девчонка ломалась. В голову само пришло это слово, оно было очень точным и уместным, хотя Рома не смог бы объяснить почему. Девчонке что-то ответил Галыба... шёпотом!? Этот факт поразил Рому. Галыбин умеет говорить шёпотом? В воображении Ромы Галыба был существом первобытным: громким, бесцеремонным и очень опасным. И вдруг тот говорит шёпотом с какой-то девчонкой, не используя свои голосовые связки в полную силу, как это делал обычно, чтобы поржать над кем-то, крикнуть, обозвать. Галыба шепотом отвечал девчонке, а Стояк и Леший молчали, словно их там и нет. Но Рома совершенно точно знал, что в амальгамной комнате четыре человека - одна девушка на трёх пацанов.

Вдруг Рома догадался. Догадался! Но сразу же отмёл догадку, как бред. Бред же! Не может быть. Нет! Или да? Неясное томление возникло в животе и сердце застучало в висках. Так он себя чувствовал, когда впервые затянулся сигаретой. Потом он конечно кашлял и во рту было мерзко, но на мгновение, пока рука несла ко рту дымящуюся сигарету, он ощутил то самое томление в животе и между ног.

Он прижался ухом к стене плотнее, жалея, что стена такая толстая, и что стоя так, многого не услышать. Он впитывал в себя чужие звуки, ещё не вздохнув, но очень даже жадно. Он жаждал слышать всё, что там происходит, за закрытыми глазами воображение уже рисовало ему в амальгамной комнате четырёх совершенно голых человек (ведь именно так этим занимаются?), на полу, а Галыбу он видел с большим, как дубина, писюном, а писюн Стояка на его фоне казался просто жалким гороховым стручком. Эта мысль его повеселила.

Он распластался по стене, как человек, которому сказали «Руки вверх!» и локоть стукнулся в колонну ведёр. Еще не осознав, что случилось, Рома открыл глаза и вдруг обомлел. Колонна пришла в движение, ведро, по которому он заехал локтём, съехало вбок, верхняя часть колонны словно согнулась в поклоне и какие-то мгновения было совершенно тихо — колонна падала вниз... но вскоре в узком пространстве каморки ведра соприкоснулись с дверцей...

Рома присел. Так всегда происходит с детьми, когда страшно за сделанное, ноги сами подгибаются, человек приседает и прикрывает рот рукой. Рома присел, закрылся руками, ведра падали, несколько упали ему на плечи, больно стукнув по голове и ключице. Этого не может быть. Не может быть. Не может быть.

Рома, как заведённый, повторял это про себя, ещё не зная (но уже предчувствуя, что ничего хорошо не произойдёт), что через несколько минут будет лежать лицом на хлорке и так же монотонно повторять детскую считалочку «Чики-брики, пальчик выкинь!»

Когда вёдра перестали грохотать, Рома пребывал весь в себе. Он не услышал, как в соседней комнате Юля Кузнецова громко выматерилась, резко перейдя с манерного кошачьего на взрослый человеческий, и пулей выскочила из туалета. Рома не видел, как Галыба потемнел лицом и усталился на своих поделеньников, а те не двигались, не соображая ничего, кроме того, что трах сорвался.

Галыба ворвался в туалет, увидел пустые кабинки, и сразу понял, где причина шума, обломавшего ему кайф. Он с ноги ударил в дверцу. Рома от удара вздрогнул и подумал, что ему конец. Галыба второй раз ударил по дверце, выламывая хлипкие кольца из фанеры. На четвертый или пятый раз шурупы с мясом вывернулись, бесполезный теперь замок повис на бесполезных теперь (по крайней мере для Ромы) кольцах. Дверь, открывающаяся из каморки наружу, медленно отворилась под тяжестью нагромождённых за ней вёдер, они покатались оттуда, предъявляя виновника грохота. Рома. Бледный. Неподвижный. Смотрел на Галыбу глазами кролика, попавшего в западню...

Рома не успел прийти в себя, лёжа на полу под черно-зелёными кафельными плитками, как на него налетел Стояк, врезав ногой в живот. Рома выдохнул и, казалось, больше никогда не сможет сделать новый вдох. Стояк бесновался над ним, что-то кричал, но Рома не слышал. Он оказался завёрнут в толстое одеяло, как труп из американского боевика перед тем, как его сгрузят в багажник. Звуки пробивали толщу одеяла с трудом, превращаясь в неясный бубнёж, почти монотонный, словно Стояк отпевает над ним службу, обернувшись в попа (если конечно им разрешено вставать по утрам со стоящим писюном). Черные плитки маячили перед глазами. Их чернильный рисунок, разбавленный люминисцентными прожилками тёмного зеленого цвета напоминали брюхо большой мухи. Чернота наваливалась на его сознание, готовая поглотить, растворить в себе, и Рома этому даже не сопротивлялся. В этой могильной черноте было по-своему уютно, почти тихо, почти не больно.

Но легкие вдруг сделали сильный вдох, закачав внутрь большую порцию воздуха. Чернота, словно напуганная желанием детского организма жить (того самого, которое спустя два года подскажет мальчику, как выбраться из смертельного омута, а лет эдак через пятнадцать подскажет, как остановить взбесившийся автомобиль), отступит, оставит мальчишку на полу туалета, с вывернутым и распухшим пальцем, с лицом в старой хлорной извести, запах которой ворвётся в легкие и останется там на всю жизнь, время от времени напоминая о себе в трудные моменты.

Рома дышал, мысли бессвязным строем проносились сквозь его мозг. Он даже не был в состоянии помолиться, чтобы на этом всё закончилось, слова не складывались в предложения, что им ещё? Отомстили! Уходите!

Но нет. Стояк всё ещё бесновался, его удерживал Леший. Галыба стоял над Ромой, отбрасывая на него тень. И эта неподвижная тяжелая тень была страшнее криков и сопения удерживаемого Стояка.

— Сука! Урою! Шкет! Сука!

— Закрой пасть. — Отрезал Галыба и Стояк действительно замолчал.

В туалете воцарилась тишина, нарушаемая только постаныванием. Рома вдруг понял, что стоны исходят из его горла, словно оно жило своей жизнью. Роме же хотелось стать маленьким, незаметным, съежиться на полу, превратиться в точку, которая затеряется в россыпи старой хлорной извести, пацаны не захотят ковыряться в хлорке, доискиваясь его, и уйдут. Уходите, мысленно простонал Рома, вы сделали достаточно.

Но Галыба так не считал.

— Слышь, Стояк, ты ж сникерс не зря платил. Пусть малой отработает. Как тебе мысль?

Рома ничего не понял, но Стояк всё понял, он осклабился, но как-то нерешительно. Идея ему понравилась, но только как сама идея, когда она бесплотная, как ночные сновидения, от которых так вкусно дрончить в одеяло.

Стояк смотрел на Галыбу взглядом, каким смотрит человек, ищущий подтверждения, что услышал шутку, ничего кроме шутки. И шутка вроде смешная, но больно уж смахивает не на шутку. Он даже заржал по-привычке, чтобы показать, что оценил юмор жожака, но быстро осёкся под серьёзным взглядом.

— Ты в натуре, что ли? — спросил он Галыбу.

— Я похож на балабола?

— Нет, — быстро ответил Стояк и смутился.

— Ну так что? Взыщешь долг с малого? Или обосрался?

Рома не понимал, какой долг с него можно взыскать, о чём они говорят и почему Стояк смутился, если не сказать больше - испугался. Распухающий палец пульсировал болью.

— А ты — мужик? — Обратился Галыба к Лешему, который подпирал стену туалета, прислонившись к ней плечом, задвинув одну ногу за другую.

— А то! — Ответил тот.

— Ну, так, покажи. Не будь пустым человеком, Леший. Давай. А Стояк тебе поможет. Поможешь же? — обратился Галыба снова к Стояку, притихшему и присмиревшему. — Малого удержать хоть сможешь?

Стояк переводил взгляд с Лешего на Галыбу и обратно, когда Леший оттолкнулся от стены, подошёл к Роме и схватил за школьную рубашку на спине.

Рома почувствовал, как его схватили, дернули вверх и спустя мгновение он оказался на подоконнике, лицом к окну. На стекле появились два пятнышка от теплого дыхания, а потом исчезли пока Рома делал вдох, и снова появились на выдохе.

— Держи его! — Крикнул Леший над ухом. — Ну!

Рома чувствовал, как одна рука прижимает его к подоконнику, а вторая дёргает за ширинку. В мгновение пришла паника. И Рома догадался! И снова, как несколько минут назад, голову заполонили мысли, скачущие дикой лошастью «Не может быть! Нет! Не может БЫТЬ!» Леший дёрнул край ширинки, Рома почувствовал, как брюки, более не сдерживаемые пуговицами, стали свободны между ног, услышал, как пуговицы попадали на пол, весело отскакивая от пола.

Чужая рука сдернула брюки почти до колен. Рома словно со стороны увидел свой голый белый зад и спущенные до колен брюки. И кто знает, что случилось бы, если бы не возникшее вдруг желание закрыть свой аккуратный девственный зад. В тот момент он отчётливо про себя поймёт, что у в нём есть силы драться, лягаться, кусаться, хоть бы и как мелкая гавкучая шавка, которая не осознаёт своих размеров и тем выигрывает драки со слонами. Неожиданно легко, словно его не придавливал пацан килограмм на десять тяжелее, он оттолкнулся от подоконника, сбросил с себя Лешего и, чувствуя, как адреналин гудит в ни разу не тренированных мышцах, бросился к выходу, совершенно забыв, что ноги опутаны спущенными штанами.

Он рухнул, не сделав и полноценного шага, рухнул к ногам опеших Лешего и Стояка. И только Галыба не потерял самообладания. Он был первый, кто хладнокровно замахнулся и всадил Роме ногой в живот.

— Это Галыба! Это он первый. Он начал!

Тем же вечером Стояк первый покажет на Галыбу, дескать, это только он ломал малому пальцы, и он же первый стал лупить пацана в живот. Стояк будет утирать с лица слёзы и сопли, и пытаться справиться с заиканием и истерикой, накативших на него при виде реальных настоящих милиционеров, вызванных в интернат.

Но тогда, когда нога Галыбы первый раз глухо вошла малому в живот, Стояк ослабил и тоже подобрался к жертве поближе. Он с каким-то звериным наслаждением замахнулся, словно собирался ударить одиннадцатиметровый и, выбрав траекторию, отпустил ногу по дуге в сторону живота.

— Ах ты сука! — Леший подбежал и без разбору всадил ногой.

Рома не ощущал боли. Пока он ничего не ощущал, кроме шума в ушах и силы в своих руках. Казалось, эта сила гудит в нём, но приложить её было некуда. На него сыпались удары и ругань, а Рома не закрывался, он катался по полу и клацал зубами в воздухе, пытаясь если не встать, то хотя бы схватиться за мелькающие перед ним ноги, поймать их, впиться и отгрызть, ощущая такую ярость, которую больше никогда в жизни ощутить не сможет, которая только сильнее злила его врагов.

Его били долго, пока не утомились, пока несколько ударов не попали мимо живота в горло и в лицо, пока Рома не перестал махать руками и скалиться. Зрелище маленького забитого зверёныша, в которого превратился с виду тихий мальчик, пугало и бесило пацанов. И лишь когда зверёныш утих и стал просто лежать, глядя на них снизу вверх, пропуская и не реагируя на удары, они остановились. Сначала Галыба отошёл. Потом Леший заметил это и тоже перестал. Наконец Стояк, покрасневший и вспотевший,

увидел, что один остался возле малого, как-то растерялся, сник и сделал шаг назад, ошалело глядя на подельников.

До них ещё не дошло, что они сделали. А может быть кто-то с самого начала знал, что он делает, когда предложил изнасиловать пацана, но если и так, то он этим не удовлетворился.

— Спорим на один сникерс, Стоячина, ты поссать хочешь?

— Чего?

— Я сказал, ты ссать хочешь, — резко сменил тон Галыба. — Давай, это же туалет. Самое место для этого.

Стояк нахмурился, не понимая, что от него хочет Галыба.

— Я тебе говорил, — вдруг сказал Леший Галыбе, — он тупее моей жопы. Я хочу ссать!

Леший расстегнул ширинку и, доставая на ходу писюн, подошёл к Роме. На лице Стояка отразилось понимание, восхищение и ужас одновременно. Он поднял глаза на Галыбу и увидел, что тот смотрит на него с кривой усмешкой.

Рома всё слышал и видел. Действие адреналина закончилось и силы покинули его в тот же миг, когда в голову закралось понимание: всё бесполезно, всё бессмысленно. Бессмысленно сопротивляться когда их трое, а ты с голым задом. Бесполезно кусать воздух, когда их ноги быстрее, а злость страшнее, чем твоя ярость. Чужая Воля — вот что случилось с ним в его десятый день рождения. Он принял в свою жизнь Злую Непреодолимую Волю и покорился ей, он опустил руки и перестал сопротивляться, принимая в себя удары, и хотел он тогда только одного - заплакать, но слёзы не шли. Он принимал удары и смотрел на старших пацанов, трезво разглядывая мимику их лиц, взлёты в воздух их рук, даже прыжки прядей волос.

Он наблюдал за ними и потом, во время короткой перепалки. И позже, когда Леший вырос над ним с голым писюном и когда оттуда полилась моча. Он только лишь закрыл глаза, на большее он способен не был. В тот миг, наконец, он смог заплакать.

За закрытыми глазами всё пережитое слепилось в один кошмарный клубок: и абрикосовый пирог, и игра в «повтори», и северное море, и рокот туалетного бачка, и рваная амальгама, и летающие перед ним кеды. Всё это замешалось на вонии хлорки и мочи, и Рома медленно, словно в сон, отъехал в густую непроглядную черноту. В спасительную и гибельную тьму.

В считанные секунды, толком не придя в себя после ударов кастетом, Роман оказался сокрушён и раздавлен.

Антон смотрел на туриста, на его жену и на своего отца, как будто сам находился где-то в параллельном мире. Пространство странно исказилось вокруг, вытянулось в тоннель, и отец сейчас маячил на другом конце длинной трубы. И голос оттуда доносился с опозданием, не поспевая за губами. Незнакомец с лицом отца подошёл к нему и что-то

говорил, слова с трудом долетали до сознания мальчика. Антон видел трещины в углах обветренных губ, красные отёчные веки, покрасневшие углы глаз, мешки под глазами и нависающие сверху брови, которые напоминали крышу домика, отчего глаза казались треугольными. Треугольные глаза зверя.

— ... и наказание должно быть правильное. Единственно правильное. — Вдруг в сознание Антона прорвались слова отца, обращённые к нему. — Только так мы научим других беречь чужие жизни.

Антон почувствовал, как слёзы выкатились из глаз.

— Опять молчишь?

Отец оставил его и, надевая на руку кастет, подошёл к джипу и распахнул заднюю дверь. Собака, заходившая лаем, вдруг замолчала. Вздёрнув губу и обнажив клыки, она с ненавистью и страхом уставилась на чужака, изготавливаясь к прыжку. Антон понял, что случится дальше. Словно в подтверждение, собака клацнула зубами и бросилась на отца. Маленькая чёрная собака. Ей выступать в цирке, а не бросаться на зверя в облике человека. Отец, как боксер, вскинул кулаки к лицу и резко выбросил руку навстречу псу. Собака налетела на кулак и, перевернувшись в воздухе, отлетела к противоположной двери салона. Свалилась на диван, мелко трясясь и потирая передними лапами разmozжённый нос, пачкая светлую обивку дивана пузырящейся кровью вперемешку со слюнями.

Отец протянул к ней руку, схватил за загривок и вытащил из машины, как вытаскивают из багажника куль с мусором. Собака повисла в его кулаке беспомощным черным клубом, скуля и дергаясь задними лапами, не отрывая от человека расширенных от ужаса глаз. Отец швырнул собаку Роману под нос.

— Убей.

Антону показалось, он ослышался. Туристка уставилась на отца с выражением ужаса на бледном лице. «Мне не показалось», — понял Антон.

— Что? — прошептала туристка.

— Заткнись. — Сказал он женщине и показал пальцем на туриста: — Ты! Убей собаку.

Турист не поднимал глаз на отца. Антону показалось, тот не совсем понимает, что происходит. Вдруг женщина вскочила и кинулась, расставив пальцы, как кошка, целясь отцу в лицо.

— Ты скоти...

Она не успела договорить, отец врезал ей в живот. Она сложилась, как захлопнутая книжка, и свалилась рядом с мужем и скулящей собакой, хватая воздух ртом, впервые в жизни узнав, что чувствует человек, когда получает удар в солнечное сплетение. Рома поднял к нему лицо и, смотрел снизу вверх, совсем как щенок, которого большой человек сейчас начнёт тыкать мордой в наваленную за диваном кучу.

— Шт ы хоше? — Исторгнул Роман, закашлявшись кровью. — «Што ты хошеш?» — произнёс он, собрав все силы и поднял к отцу разорванное лицо.

— Убей собаку.

— Ты больной! — Простонала туристка, к этому моменту продышавшись. Она была бледная, словно вампиры высосали половину её крови.

— Убей свою собаку, — отец не обращал внимания на крики туристки, — и можешь ехать, куда хочешь.

— Больной. Урод. — Выдыхала ругательства туристка, в промежутках между глотками воздуха.

— Ты мне должен собаку. Верни долг.

— Урод. Мразь. — Выплёвывала она как заведённая. — Скотина, сволочь...

— Заткнись! — вдруг заорал на неё отец. Он схватил туристку за волосы и за руку и потащил к джипу. Она верещала от боли, но не вырывалась. Открыл кузов, закинул внутрь, словно не человека, а тряпичную куклу, и захлопнул крышку. Антон увидел, как она вскочила там и ударилась головой о тонированную пластиковую крышу багажного отсека. Разъярённая, она била ладонями по окнам и кричала, но звуки оттуда доносились глухо.

Отец обернулся, остановился взглядом на сыне. Антон часто моргал, слёзы текли по щекам.

— Что? Что!? В другой стране за сбитого пешехода наркоману дали бы тридцать лет. Тридцать! А он получил семь. Семь! А за собаку ты думаешь сколько дают? Даже штрафа нет за собаку!

Роман за его спиной поднялся и, медленно переставляя ноги, двинулся к жене. Отец обернулся к нему и удивлённо смотрел, как тот идёт к джипу.

— Куда ты идёшь? — Он проследил взглядом траекторию туриста. — Ну куда ты? Оставь бабу в покое, с ней ничего не случится в багажнике. Вернись, слышишь? Это наше с тобой дело.

Каждый шаг Роману давался с трудом, его шатало из стороны в сторону, на белую рубашку лилась слюна, расплываясь красными потёками. Быстрым шагом отец преодолел расстояние между ними и двумя короткими ударами — прямым в шею и снизу вверх в живот — свалил туриста на землю. Тот сложился без единого звука и рухнул, хватая раскрытым ртом воздух, прижимая руки к горлу. Вены на шее напряглись, кожа побагровела, глаза лезли из орбит.

Женщина в багажнике исчезла из вида.

— Почему ты не сделаешь то, что должен? — В голосе отца прозвучал упрёк. — Куда ты опять ползёшь?

Роман пытался встать на колени, голова ходила кругом, земля под ногами шаталась, оказываясь то справа, то слева.

— Отошёл от него! — вдруг закричала туристка.

Она стояла в зеве багажника, каким-то образом отомкнув его изнутри, и держала двумя руками пистолет. На лице оскал напуганной и разозлённой своим же страхом женщины.

— Отошёл, я сказала! Рома, беги!

Отец развернулся к ней и застыл, внимательно разглядывая женщину тем спокойным взглядом, каким изучают семейную фотографию в чужой квартире.

— Отошёл, я тебе сказала! — Закричала она, переходя на визг. Пистолет в руках ходил ходуном.

Отец поднял руки к плечам, ладонями вперёд, и сделал два шага назад.

— Рома, беги же!

Роман встал и, мутно глянув на жену, отвернулся и на заплетающихся ногах пошёл к собаке.

— Что ты... — Туристка на секунду остоленела. — Куда?

Бесстрашие или оупление, что движет этим человеком? Антон ничего не понимал. Отец тоже смотрел на туриста, склонив голову набок, словно продолжал рассматривать фотогалерею этой семейной пары. Роман добрёл до собаки, прижал брыкающегося скулящего пса к животу и пошёл к машине. Каждый шаг отражался на его лице.

Когда между ним и отцом оставался шаг, отец молниеносным прыжком оказался возле него, схватил за горло и приставил короткий нож.

— Брось пистолет. — Сказал он туристке. — Брось, не дури.

Туристка растерялась.

— Ты не соображаешь, что делаешь. — Отец говорил спокойно, как будто смотреть в зев пистолетного дула для него привычное дело. — Я могу отрезать твоему мужу ухо, а ты не сможешь в меня выстрелить, потому что как только пуля вылетит из твоего ствола, ты из жертвы автоматически превратишься в преступника и пойдёшь по статье 118 УК «Превышение пределов необходимой самообороны» с исправительными работами на срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до трёх лет. А если пуля всё таки попадёт в меня, тебе ещё подошьют 124 статью «Умышленное тяжкое телесное повреждение при превышении пределов самообороны». Такие у нас законы, ты не знала?

Туристка прищурилась, по лицу пробежала тень сомнения. Она перебежала глазами с мужа на отца и вдруг, ослабившись, медленно навела пистолет на Антона.

— А так? По какой статье я пойду, если вышибу твоему сыну мозги?

У мальчика перехватило дух. Ему в лицо смотрело дуло, казавшееся огромной черной дырой. Антон не мог отвести взгляд от этого тёмного туннеля, парализующего его волю, замораживающего внутренности. По ноге потекло что-то горячее, и с опозданием Антон понял, что это моча.

— Статья 115 «Умышленное убийство». От семи до пятнадцати лет, спустя которые ты выйдешь из зоны туберкулёзной развалиной с раздолбанной от постоянной долбёжки мандой. Но ты не учла нескольких фактов, — донеслось до Антона откуда-то издалека. — Твой палец на спуске лежит неправильно, при выстреле ствол дёрнется влево, а отдачей уйдёт вверх. Посмотри, как дрожат твои руки и прикинь расстояние от тебя до пацана — ты даже если прицелишься, промахнёшься. Но ты обязательно попробуй. Только знай, одновременно с выстрелом я воткну нож Роману в глотку, а через мгновение ты увидишь этот же нож у себя между глаз. Ты готова к такому повороту? Я готов.

Руки туристки тряслись, на глазах выступили слёзы. Она громко выругалась и отбросила пистолет. Но отец не отпустил туриста, только выше задрал ему голову и подпёр его подбородок ножом.

— Души собаку. — Сказал он туристу.

Тот не двигался.

— Ну! — Прикрикнул отец.

Тот вздрогнул и от неожиданности выронил собаку. Она заскулила, суча лапами и извиваясь на земле.

— Мне надоело! — Отец вдруг сорвался. — Сколько можно?

Он ударил туриста по ногам, и тот очутился на коленях над собакой в позе человека, готового просить прощения.

— Нельзя так, Роман! Сделал гадость — заплати. Ты же мужик! — Отец вжимал острие ножа туристу в затылок. — Ну, дави пса!

Антон разглядел, как отец вспорол ножом кожу на затылке, кровь выступила под острием, лизнула лезвие и потекла между волос. Антона точно ошпарило — это конец! Во рту мигом пересохло, он раскрыл рот, и не смог выдавить из себя ни слова, только лишь мысленно во всю глотку орал на отца: «Он не задушит собаку! Он её хозяин! Как ты не понимаешь, он не сможет!» Ведь не смог же Антон вчера. Не выдержал даже мысли, что он берёт пистолет и подходит к Дане. На мгновение Антон перенёсся во вчерашний день и увидел, как кровь разлетается веером под собачьей мордой, а пистолет потом спокойно опускается в кобуру.

Отец не отступится — это единственно правильный шаг или способ — о чём там отец говорил по дороге сюда? Он убеждён, что так правильно, но только Антон не уверен, что считает как отец. Что он делает? На его лице уже появилась та гадкая ухмылка, от которой Антона передёрнуло: в теле отца был другой человек — холодный, злой, безжалостный, всевластный. Он не отступится, не остановится, не одумается. Его лицо

застыло в гневной маске, глаза покраснели (Антону казалось, что дело уже не в аллергии, это кровь закипает в глазных белках). Ещё секунда неповиновения туриста, и отец всадит тому нож в шею. Это будет конец...

— Хватит, хватит! — Антон бросился к отцу.

Он подлетел, схватился за руку с ножом, но вдруг оказался на земле, и сам не понял как. Отец отшвырнул его, и кажется, не даже не заметил. Антон свалился на обломки ракушняка, ободрав до крови на локтях кожу и прикусил зубами щёку. Кровь, вкусная как железо, залила язык.

Он не успел испугаться отца. Он боялся сейчас только того, что отец убьёт человека. Перейдёт этот рубеж, после которого мальчик потеряет отца навсегда. Антон попытался сесть, локти саднили, пальцы сомкнулись на каменном обломке. Антон посмотрел на пальцы и внезапно понял. Он понял! Он придумал!

Миг осознания длился долго, сердце успело подпрыгнуть к глотке и перекрыть вдох. Антон сжал камень сильнее, не замечая острой боли от взрезаемой ископаемыми ракушками тонкой кожи на кончиках пальцев. А потом он вскочил, боясь только одного - опоздать. Не успеть.

Он бросился к туристу, добежал, рухнул перед ним на колени и, выпучив глаза («Единственно правильный поступок!»), не давая себе и секунды одуматься («Единственно правильный поступок!»), обрушил камень на собаку. С гортанным криком он поднял камень и снова опустил на собаку. И снова! До тех пор, пока её голова не превратилась в кровавое месиво, пока собака не перестала дергать лапами, пока камень не раскололся в его руках.

«Единственно правильный поступок!» — теряя свою силу, продолжала долбить его мозг эта мысль, когда Антон выронил обломки. Турист вдруг заорал и прыгнул на мальчишку. Он завалил его сверху и стал душить. Он тряс Антона за горло, бил головой об землю, роняя на лицо мальчишке свои пот и слюни. Волосы туриста тряслись свалившимися прядями... Как вдруг его хватка ослабла, а потом турист завалился на бок, лишившись сознания. Отец стоял за его спиной.

Отец вернулся. То чудовище с гадкой ухмылкой исчезло, даже глаза, казалось, стали не такими красными. Отец смотрел на него так, как мальчик ещё не видел. В его взгляде смешалось жалость и боль, страх и любовь. Мальчик сипло втягивал ртом воздух и держался за шею, на которой проступали синяки.

Отец вдруг схватил Антона, рывком поднял с земли и большими руками прижал мальчишечий затылок к себе. Запах отцовского пота ударил мальчику в нос, такой родной, тягучий и кисло-сладкий, к которому примешивались запахи его одеколона и песчаной пыли. Придавленный сильными руками, Антон услышал, как бьётся сердце отца. Он заплакал, больше не сдерживаясь и плакал так, как не делал с того дня, когда очнулся в сарая рядом с Даной и когда понял, что единственное существо в мире, кто пожалел его - собака.

Силы оставляли мальчика. Чернота накрывала его разум, расползаясь вокруг него. До мальчика с ужасом стало доходить, что он только что сделал. Миллион ярких мушек заплясали перед зажмуренными глазами, живот подвело, ноги стали обмякать и он стал сползать, утасаящим сознанием отмечая, как отец подхватывает его на руки, а потом несёт.

Он не слышал, как пришёл в себя и заплакал турист, а если бы услышал, вряд ли бы понял, от чего тот плачет - от раскаяния, от потери собаки или от жалости к себе; Антон не слышал отца, как тот сказал туристам валить и думать забыть куда-то звонить; всё это время Антон пребывал в полузабытье, очень похожим на то беспмятство, четыре года назад. Только тогда он очнулся рядом с собакой, а в этот раз он пришёл в себя от пощёчины.

Он раскрыл глаза и несколько мгновений не мог понять, где он. Глазами скользил по лобовому стеклу. Они всё ещё возле карьера. Вода в нём по-прежнему ходила и закручивалась в десятках мест. В поле зрения попал бардачок, потом его же коленки, и вдруг мальчик увидел свои руки. Они оказались вымазаны в кровь. Он повернул голову и увидел отца. Они сидели в машине, папа смотрел на него с тревогой. И в этой тревоге мальчик разглядел ту заботу, которую давала ему собака все эти долгие четыре года. Выражение отцовских глаз наконец стало таким, которое можно любить: веки больше не нависали треугольником, губы выражали подобие улыбки, в которой мальчик искал (и ему даже показалось, что нашёл) сожаление и вину за случившееся сегодня. Антон потянулся к отцу и, боже... отец потянулся навстречу...

Заднее стекло вдруг разлетелось, забросав осколками салон. Отец инстинктивно прыгнул вперед и закрыл Антона собой. Стеклянная крошка посыпалась сверху, застревая в волосах и звонко падая вниз на пластиковые детали автомобиля.

— Лежи! — Рывкнул отец.

Отец выскочил и, оступившись на камнях, растянулся возле машины. Рискую попасть под второй выстрел, Антон вскочил в салоне. Сквозь дыру в заднем стекле была видна туристка. Широко расставив ноги, она держала пистолет двумя руками и беспорядочно палила, попадая куда угодно, но только не в отца. Звук выстрелов что-то напоминал Антону, но в ту секунду он не смог понять, что. Он бросил взгляд на отца, когда тот перегруппировался и изготовился к броску. Антон метнул взгляд на туристку, и в этот момент её муж вырвал пистолет из её рук и сильно её оттолкнул. Он даже заорал на неё, но его крик утонул в крике отца, который рванул на них с зажатым в руке ножом.

Лицо туриста исказила гримаса ужаса. Он вскинулся и стал стрелять в отца, петляющего, но стремительно приближающегося к ним. Выстрел. Выстрел. Выстрел. В эту секунду Антон узнал этот звук - такими хлопками стреляет воздушная винтовка в тире. Страх за отца, за их новую жизнь, которая может быть разрушена из-за пневматического пистолета в руках туристов, снова выплеснулся мальчишке в кровь.

— Не-е-ет! — Закричал он, понимая, что кричит совсем не то, что способно остановить отца.

Посеревший от страха турист продолжал палить, отступая назад, пока не упёрся в капот джипа. Его лицо перекосило, словно он видел не отца, пусть даже и с ножом, а нечто более ужасное, словно из детских кошмаров и Антон удивился бы, если бы узнал, что он совершенно прав. Турист видел не отца. «Вернусь и отрежу яйца», вот кого он видел. Галыба, снова Галыба, бежал на него с ножом, выросший и окрепший, в тяжёлых ботинках и камуфляжных штанах, вернувшийся, чтобы сдержать обещание, данное ему на следующий день. Рома, снова маленький, запуганный, держал на вытянутых руках пистолет как единственный щит, стрелял этим щитом, не понимая, что стреляет - делал всё, чтобы остановить летящий к нему ужас, не дать тому добежать, потому что как только тот добежит, Рома умрёт на месте от собственного ужаса, вышедшего из берегов детского подсознания.

Антон смотрел то на туриста, то на петляющего зигзагами отца, как вдруг отец замедлился, а потом как-то неуверенно взмахнул рукой и в пяти шагах от туриста остановился, словно налетел на невидимую преграду. Прижал руку к шее, точно комара прихлопнул. Антон не понял, что случилось, отец, похоже, тоже — он отнял руку от шеи, и тут кровь хлынула на рубашку. Отец уставился на испачканную в красное ладонь, на кровь, толчками выплёскивающуюся из перебитого шейного сосуда и струящуюся по груди широкой рекой, словно открутили кран на полную катушку. Вдруг его ноги подогнулись. Он медленно опустился на колени, словно перед алтарём, и ослабшей рукой зажал рану на шее.

— Не-е-ет! — Закричал Антон и рванул к отцу.

Он добежал, упал перед отцом на колени и поверх отцовской руки, через которую хлестала кровь, прижал обе своих.

— Папа! Папа! Па...

Отец положил другую руку на Антона, провёл большим пальцем по лбу, по бровям, по виску и щеке. В таком простом движении была вся отцовская нежность, на какую он был способен, на какую он обделил сына за последние четыре года. Он гладил сына пальцем, сухая кожа делала мальчику больно, растирая по мальчишеской щеке слёзы, которых Антон не замечал.

Антон смотрел на отца во все глаза — будто именно от силы его взгляда зависела вся жизнь — отведи взгляд или моргни, и отец упадёт. И мальчик держал отца взглядом. «Он не боится» — понял вдруг Антон. Папа выглядел удивлённым, но не испуганным. И ещё Антону показалось, отец точно жалел о чём-то. О сегодняшнем дне, или о чём-то ещё, Антон не успел осознать.

Кровь выталкивалась из артерии сквозь пальцы трёх рук - взрослой и двух детских. Отец гладил его лицо и смотрел таким взглядом, что в душе у мальчика щемило, и от этой боли хотелось плакать и кричать...

Что случилось дальше, Антон будет помнить плохо.

Сначала он бежал. Мчался от карьера. От места, где не смог удержать отца взглядом, где папа завалился на землю и остался лежать. Антон мчался, не узнавая местности, влекомый в сторону дома одной лишь интуицией. Сбивал ноги о камни, падал, вскакивал и продолжал бежать, пока не останавливался, хрипя загнанной лошастью, а потом снова бежал, как если бы он мог сбежать от одиночества, накрывшего его словно чёрной тряпкой. Именно так он и видел мир вокруг себя с того момента, когда понял, что кровь из шеи отца больше не течёт, а зажимать рану бесполезно — отец смотрел в небо мёртвыми глазами.

Первый раз он пришёл в себя в незнакомом поселке, когда, запыхавшись, припал ртом к старой колонке в незнакомом дворе и жадно хватал воду, подставляя под струю лицо. В какой-то момент вкус, знакомый с самого детства, показался мерзким, отвратительным. Как он мог прожить здесь одиннадцать лет и только сейчас заметить, что вода воняет железом? А железо на вкус почти что кровь. Его замутило от мысли, что он лакает из колонки чужую кровь, и его тут же вывернуло наизнанку, прямо на сливную решетку...

Следующий раз он найдёт себя перед крестом на подступах к городу. Как загипнотизированный будет снова и снова перечитывать «Спаси и сохрани», и вдруг ему откроется, что холодный кусок камня насмехается над ним кроваво-красными буквами, похоронив под собой и не дав ни малейшего шанса спасти и сохранить всё дорогое, что было в его жизни.

Ненависть затопит Антона, обожжёт его нутро. Он сожмёт кулаками голову и во всю глотку заорёт на крест в бесплодной попытке выплеснуть на город свою ярость, освободиться от неё, лишь бы самому не свариться заживо.

Крик будет ввинчиваться пронзительным шурупом в голодное небо. Облегчение не придёт, ярость будет кипеть, как в забытой на плите кастрюле, а крест по-прежнему равнодушно взирать на него холодными красными буквами.

Спустя время грязный и измождённый, он выйдет, наконец, к тому злосчастному пешеходному переходу, стараясь не смотреть на пятна собачьей крови, почерневшие за ночь. До дома останется всего ничего. Чем ближе он будет подходить к своему дому, тем меньше у него будет оставаться сил, будто в том миллионе отпечатков ног, что протянулись за ним от затопленного карьера до этого места, он все их и оставил - в каждом отпечатке по капле.

До дома останется две минуты, когда, свернув от мусорных баков к «Везунчику», он увидит выходящих оттуда Глыбу и компанию старших придурков. Что-то сломается внутри Антона. Или наоборот починится. Потом он будет помнить, как ярость вскипела, сорвала крышку кастрюли, лицо стало горячим и в мышцах загудел адреналин. А потом он обнаружит себя на Глыбе верхом, придавливая коленом горло, и откуда-то взявшимся отцовым кастетом будет ломать ненавистное лицо и разрывать острыми гранями кожу в кровавые ошмётки.

Он будет избивать Глыбу и чувствовать как ему становится легче. Ярость, в которой тонуло его сознание во время стычки с Малым, и которую он пытался выплеснуть, стоя перед крестом, будет покидать его сейчас, перетекать из его кулаков в месиво, бывшее когда-то лицом Глыбы.

Он будет бить Глыбу совершенно ясно осознавая, что под его кулаками лицо противника теряет человеческий вид. И ему будет сладко это видеть, он будет избавляться от боли, передавая её другому, облекая в ясную физическую форму - в кровь и выбитые зубы. Он будет избивать Глыбу за самого себя, избивать его отца Галыбу за своего отца, он будет рвать лицо туристу за Дану, и всех вместе будет уничтожать за свою мать.

Эта ярость будет настолько страшна, что никто из свиты Глыбы его не остановит, и он прекратит только, когда Глыба перестанет стонать.

Обессиленный, но непобеждённый, он поднимется на ноги и обведёт толпу пацанов мутным взглядом. А когда он переступит через чуть живого Глыбу, толпа старших пацанов молча расступится перед одиннадцатилетним мальчишкой, и тогда он, наконец, сможет попасть домой.

Он остановится перед запертыми воротами и будет стоять, опустив голову и туго соображая, как попасть в дом. Ключи остались у отца. Потом медленно пойдёт вдоль забора и найдёт лаз, вырытый Даной. Оказавшись во дворе, испачканный не только кровью Глыбы, но и землёй с маминой грядки, он остановится и снова будет думать, низко опустив голову и пошатываясь. Он будет собираться с мыслями, но они будут убегать от него, а перед зажмуренными глазами будут мелькать яркие мушки. Он откроет глаза и заметит, как с кастета, который всё ещё в его руке, капает кровь. Разожмёт кулак, и кастет соскользнёт на щебёнку, где и останется лежать, пока его тем же вечером не обнаружит Ростовский Иван, участковый, придя к отцу, чтобы поговорить про попавшего в черепно-мозговую хирургию Галыбина среднего.

Он достанет большой ржавый таз (как всегда сорванной заклёпкой обдерёт до крови кожу на пальце, но даже не заметит), догола разденется и бросит одежду в таз, совсем как отец вчера. Подумает и бросит кроссовки туда же. Затем примет душ в летней кабинке, нагретая солнцем вода ничуть не освежит, а лишь смоет грязь. Голый и мокрый вернётся к тазу, выльет в него найденные в сарае остатки жидкости для розжига и кинет спичку. Огонь жадно кинется на одежду и будет аппетитно полахать, когда Антон вернется из сарая и вынесет оттуда все формикарии. Один за другим бросит муравейники в огонь, а сам будет неподвижно стоять рядом и равнодушно наблюдать, как древесные каркасы занимаются огнём, а пенопластовые ходы плавятся вместе с обречёнными на смерть муравьями. Голый с мокрыми волосами, липнущими ко лбу, он будет стоять, пока не убедится, что ни один муравей не выжил в этом огне. Потом достанет из будки мяч, любимую игрушку Даны, и кинет в огонь к дохлым муравьям. Через несколько минут разогретый внутри воздух разорвёт мяч на куски, и громкий хлопок, похожий на выстрел, выведет Антона из состояния оцепенения.

Он войдёт в дом, совсем как отец вчера. Пройдёт в родительскую спальню и выдвинет ящик комода. Найдёт и наденет на себя отцовскую майку, которая окажется больше на

несколько размеров. Перероет все ящики, но вместо спортивных штанов наткнётся на женскую туфлю и будет долго думать, зачем она здесь. Он выложит туфлю на комод и, не найдя что искал, остановит свой выбор на отцовых семейных трусах, похожих на летние шорты, бездумно возьмёт с собой туфлю и в таком виде придёт на кухню.

Включит чайник, достанет синюю мамину чашку и поставит туфлю рядом. Возьмёт в холодильнике колбасу, отрежет толстыми ломтями батон и сделает бутерброды. Когда чайник закипит, Антон сделает полную чашку растворимого кофе. Горький напиток обожжёт горло, когда Антон внезапно поймёт, чья перед ним туфля. Он возьмёт её в руки, поднимет к глазам. Стелька потёрта в тех местах, которых касались мамина пятка и пальцы. Он медленно поднесёт туфлю к носу и уловит запах маминых ног. Запах семьи. Его запах...

Когда спустя два часа в ворота дома станут стучать, Антон будет спать на родительской кровати, на отцовой подушке, повернувшись в сторону матери. На соседней половине кровати будет лежать мамина туфля, которую Антон будет цепко держать за каблук.

Антон будет спать глубоко, сны будут приятные, а лицо будет освещено улыбкой, какая возникает у человека, который собой доволен, который сделал то, что должен и поэтому спит со спокойной совестью.

Эпилог

Роман Синельников вошёл во взрослую жизнь рано, ему не исполнилось ещё двух, когда после гибели родителей в автомобильной катастрофе его определили в детский дом.

Второе крещение во взрослую жизнь случится вечером того дня, когда Роме исполнится десять. Наутро он будет бережно баюкать сломанный палец, переживая в безопасной учительской. А тем временем трое подростков, глумившихся над ним накануне, будут собирать свои личные вещи, а с фасадом графского особняка будут играть голубые маячки милицейской машины. Через несколько часов Рома войдёт в спальню и скользнёт взглядом по пустым кроватям под окнами. Ему передадут то, что Галыба сказал напоследок: «Вернись. Вернись и отрежу сучонку яйца», но Галыба не вернётся, и когда в шестнадцать лет Рома выпустится из интерната, а затем поступит в ПТУ, он совершенно не будет об этом помнить. Как ничего и не было. Сознание спрячет всю эту мерзость куда по-глубже. В тот светлый момент Роме будет казаться, что вся дальнейшая и длиннейшая жизнь целиком зависит от него одного. Так, впрочем, и будет до того нежаркого утра, когда, защищаясь в панике от свихнутого незнакомца, Роман пропороет ему на шее крупный сосуд металлическим шариком, выпущенным из воздушного пистолета.

Незнакомец умрёт, а Роман следующие несколько месяцев проведёт в тумане, сквозь который периодически будет обнаруживать себя в следственном изоляторе и каждый раз очень этому удивляться. Потом наступит день суда, на котором приговор в виде восьми лет лишения свободы станет для него шоком.

Окончательно пробудится Роман, когда его выведут из закутка, в который на суде обычно сажают преступников. В его мутном мозгу будет неотвязно пульсировать мысль: «Это конец!» После суда его этапируют на зону ОГПУ №1287п, где «местные» уже будут знать, что новый штрих пришёл со статьей «Умышленное тяжкое телесное повреждение при превышении пределов самообороны, повлекшее за собой смертельный исход» и встречать его будут соответственно статусу новенького. Впереди его будет ждать восемь очень долгих лет, их окажется достаточно, чтобы примириться с мыслью, что годы в интернате были не такими уж и тяжёлыми, а в жизни от тебя зависит далеко не всё. Особенно, когда жизнь сталкивает тебя с Чужой Злой Непреодолимой Волей.

По иронии судьбы, или по стечению обстоятельств, Роман будет отбывать наказание в камере через три от той, где свой последний вздох год назад сделал Егор Галыбин. Но Рома о этом не узнает, и это, наверное, к лучшему?

Для Антона Бурцева взрослая жизнь началась примерно в семь лет, когда его мама попала под колеса мотороллера, которым управлял обдолбанный героинном Егор Галыбин, тридцатипятилетний старик. Пережить мамнины похороны оказалось нелегко, но жить в опустевшем доме (даже при живом отце) оказалось ещё труднее, хотя отец его, наверное, любил. Но Антон жил, терпел, не понимал своего одиночества и жил. Благодаря собаке...

По-настоящему взрослый мир найдёт его позже, спустя три года, когда в течение одних суток отберёт у мальчишки собаку, а потом и отца в результате шокирующих детскую психику событий. Назвать те события иначе, чем Рок или Случайные Совпадения, Антон потом не сможет. А впрочем, кто смог бы?

В тот же день Антона найдут на кухне своего дома, но не потому, что станет известно о смерти Бурцева старшего в далёком ракушняковом карьере, а потому что стараниями Антона сын Егора Галыбина отправится в челюстно-лицевую хирургию с множественными переломами и реальной угрозой к жизни.

Отца Антона найдут ближе к вечеру возле карьера. Того самого карьера, в котором, как выяснится позже на допросах Ростовского, исчез не один местный толкач героина (анонимки, которых Ростовский так боялся, всё таки сыграли своё дело). Когда история заместителя начальника районного управления милиции города Саки, который своим собственным «методом» боролся с героиновой наркоманией, станет, наконец, известна общественности, глава Городского Совета выступит по местному телевидению с сообщением про «незаконную деятельность высокого чина правоохранительных органов, направленную на пресечение распространения героиновой наркомании в Сакском районе» и заверит жителей, что подобное больше не повторится, и что высшая власть осуждает произвол капитана Бурцева в решении этого вопроса. Зрители, простые люди, глядя в маленькие глазки мэра, подпёртые упитанными щёками, будут думать «Ага, а ты, типа, ничего не знал. Знал и покрывал... и правильно делал», — думали люди, слушая витиеватую речь, наспигованную непонятными канцеляризмами (видимо так пустые политические обещания звучат солиднее). Уж коль законы не способны утомонить наркоманов, от которых страшно выпускать на улицы детей, то хотя бы Бурцев (молодец мужик!) взял и решил проблему. Жалко, только, убили.

По поводу истории Галыбиных, Синельниковых и Бурцевых общественное мнение расколется на два лагеря. Одни будут считать это Судьбой, мол так предопределено (а про себя будут облегченно вздыхать «Хорошо, не со мной»). Другие будут с пеной у рта кричать «Так им и надо», не уточняя кого же они имеют в виду, видимо сами до конца этого не понимая. Ах да! Будет ещё и третья группа, они будут вопить о наказании Божиим и призывать людей покаяться. Но тем только дай какой-либо повод для выстулений. Лучше бы пошли и вкопали ещё один крест, хоть какое-то дело.

Жизни Галыбина, Синельникова и Бурцевых переплелись в такой тугой клубок, что выбраться из клубка не сможет никто, даже Антон. Разве что Лоре повезло — жене Романа. После того, как её мужа этапируют на зону, она вернётся домой, где и продолжит работать на своей работе, ездить на своей машине, жить в своей дорогой квартире в самом центре Киева. Время от времени она будет отправлять мужу посылки. Глядя на неё нельзя будет сказать, что она горюет или сожалеет, в её глазах по-прежнему будет светиться претензия к миру, словно тот ей что-то задолжал, а Лора никак не может взыскать долг. Пожалуй, она единственная окажется в комфорте после этой истории. Но можно ли считать, что её жизнь не изменилась в худшую сторону? А была ли её жизнь когда-либо на светлой стороне?

Антон Бурцева после смерти отца определяют (и тут опять постаралась та же ирония, не иначе!) в евпаторийскую школу-интернат, ту самую, где когда-то в спальне №4 на восьмой от двери кровати Роман Синельников баюкал сломанный палец и даже в кошмарном сне не мог увидеть, что когда-то станет убийцей.

Если бы про это снимали кино, обязательно разместили бы Антона в той же спальне и даже на той же панцирной сетке, где когда-то спал Роман. И обязательно когда-нибудь и как-нибудь Антону стало бы известно, что Синельников здесь жил, и Галыбин старший тоже здесь жил, и что Галыбин уже тогда был уродом. И конечно, Антону тогда стало бы многое понятно и, наверное, — это же кино! — Антон ощутил бы какую-то жалость к Роме - не к тому Роману, который убил его отца, а к мальчику Роме, которого которого чуть не изнасиловали в десять лет.

Но в реальной жизни Антон не будет ни спать на той же кровати, ни даже в той же самой спальне. В реальности, Антон ничего не узнает про детство Синельникова. Да и за чем? Но ни единожды Антон будет посещать именно тот туалет, где пятнадцать лет назад родился дикий необузданный страх, обернувшийся металлическим шариком и пробивший шейную артерию его отца. Пробивший в тот момент, когда отец, наконец-то, «вернулся».

Но самая большая ирония (и в этом проявилась вся её гнусность) была в том, что эти события волновали общественность не дольше трёх недель, а потом прорвало трубу в ответвлении Северо-Крымского Водоканала, и затопило целый посёлок - не Долинное, а следующий в сторону Симферополя. А о Бурцевых все забыли.

Все, да не все...

Только один человек правильно сведёт воедино все события прошлого и настоящего, увидит все факты, будто их выложили под увеличительным стеклом. Когда Антон поступит на обучение в интернат, бессменная Колтунша ретроспективно распутает клубок, с удивлением отмечая новые и новые «совпадения», узнавая в главных ролях трагедии её бывших учеников. Она не придёт в ужас, было бы от чего. Её будут волновать совсем другие проблемы. Шиньон, из-за которого ей и дали кличку Колтунша и который она носила лет тридцать, давно уже будет валяться в ящике стола (в том самом, в котором никогда и не было мифических розг), а на голове под париком-каре останется слишком мало для женщины родных волос. Но старость будет надвигаться на неё не только традиционным образом. Трудно удержаться в седле, когда тебе за шестьдесят, когда кресло директора не первый год пытается скинуть твоё сухое тело, чтобы усадить туда более упругий и наглый зад. Так что история Синельникова, Галыбиных и Бурцевых забудется ею так же хорошо, как и История КПСС, которую когда-то она знала наизусть.

Не забудут по-настоящему о Бурцевых только кресты, стоящие на въезде и выезде из города. Они там и поныне. Раскидывают руки в стороны, смотрят с обочины на проезжающих мимо туристов, словно благословляют... нет, не благословляют, а лишь пытаются это сделать, но как видно...

«Спаси и сохрани вас Господи! Вы въезжаете в город Саки...»

Конец.

Апрель 2013